

Максим Долгополов

«Империя должна умереть!» —
многие говорили вслух

«А заодно и Россия» —
добавляли вполголоса

**РОССИЯ ВЫЖИЛА
ПОЧЕМУ СВЕРШИЛОСЬ
ЭТО ЧУДО?**

Ответ в книге

**РОССИЯ
ДОЛЖНА
ЖИТЬ**



Максим Долгополов
Россия должна жить

«У Никитских ворот»

2019

УДК 82-311.6
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

Долгополов М. В.

Россия должна жить / М. В. Долгополов — «У Никитских ворот»,
2019

ISBN 978-5-00095-816-2

В 2018 году прошел столетний юбилей похорон России. Могильщиком был нобелевский лауреат сэр Редьярд Киплинг, автор стихотворения «Россия – пацифистам» (Russia To The Pacifists). В стихотворении не было ненависти. Только хладнокровная констатация того, что давний геополитический противник Британии скончался: «Империя строилась триста лет и рухнула в тридцать дней». Ну а так как даже давнему геополитическому противнику и недавнему союзнику негоже лежать без погребения, Киплинг призывал соотечественников немного потрудиться: «Мы роём народу могилу с Англию величиной». И могила была вырыта. Но она пуста до сих пор. Россия жива. Почему же так произошло? Кто заступился за нас? Почему самая серьезная ошибка русского народа за его историю не стала смертельной? Эта книга – попытка ответа.

УДК 82-311.6
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-00095-816-2

© Долгополов М. В., 2019
© У Никитских ворот, 2019

Содержание

От автора	6
Часть первая	8
Вера	9
Петр	13
Павел	16
Александр	20
Мария	23
Часть вторая	29
Вера	30
Александр	32
Мария	34
Петр	36
Павел	39
Александр	42
Мария	44
Вера	47
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Максим Владимирович Долгополов

Россия должна жить

© М.В. Долгополов, текст, 2019

© ИПО «У Никитских ворот», оригинал-макет, оформление, 2019

От автора

Весной 2019 года во время «скверного протеста» в Екатеринбурге против строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины (именем которой и названа столица Урала) над собравшейся толпой был замечен флаг «Уральской республики» – одной из будущих стран, которые должны возникнуть на месте распавшейся России.

Эта маленькая деталь очень символична. Общество нередко протестует против действий власти. Иногда ошибочных и незаконных. Беда в том, что небольшая числом, но наиболее активная и скандальная часть общества считает ошибкой само существование России. Именно так мыслят идеологи и продвинутые активисты антицерковных протестов. Такая большая и непонятная для них страна должна как можно скорее разделиться на множество небольших государств, простых и понятных, живущих по единому мировому стандарту западного прагматизма.

Действительно, объяснить рациональными экономическими, социальными, военно-историческими и другими соображениями существование России невозможно. Русская цивилизация сформировалась и выжила в условиях постоянных набегов соседних воинственных народов: с востока – свирепых кочевников, с запада – жестоких европейцев. В ответ русские создали самую большую в мире страну – в крайне неблагоприятных климатических условиях, когда снег может выпасть даже летом, погубив урожай. Много раз Россию сотрясали смуты и бунты, приходилось переживать чудовищные ошибки правителей и народа, которые неизбежно должны были привести к распаду страны. Не привели, Россия жива.

Единственное объяснение этого чуда мировой истории: Россия была создана не только человеческими усилиями. И сохраняется не только усилиями людей, но заступничеством Господа Бога и Божией Матери.

Попытки разрушить историческую Россию, причесать по некоему единому «прогрессивному» образцу, кстати, отсутствующему в реальном мире, – продолжаются. Главный объект нападков – Русская Православная Церковь, скрепляющая и удерживающая своими молитвами Россию даже в те времена, когда народ и государство раздираются идеологическими, социальными и политическими противоречиями. Именно этот становой хребет России, на который тысячу лет опираются государство и общество, пытаются сломать много веков подряд.

Сегодня на Украине спровоцирован раскол Русской Православной Церкви с участием Константинопольского Патриархата. Оппозиционные антироссийские съезды составляют списки «прислужников режима» и включают в них церковных иерархов. Обсуждаются проекты «оптимизации попов», кощунственные клипы высмеивают уже не только Церковь, но и все святых. В России, впервые после падения коммунистической власти, уличные протесты не позволяют строить храмы в Москве и крупнейших городах. В Петербурге главный храм Российской империи – Исаакиевский собор – не дают возратить Церкви. Вдумайтесь: у части общества настолько глубоко неприятие Церкви, что люди ходят на митинги с требованием сохранить этот величественный храм в статусе атеистического музея с платным входом.

Организаторы и участники протестов, деятели современной массовой культуры, создатели и зрители клипов с миллионной аудиторией не скрывают свою цель: создать такое российское государство и общество, в котором влияние Церкви будет сведено к нулю, как сто лет назад. Где не будет звучать благовест, где о Боге, Его заповедях и недопустимости греха можно будет говорить лишь вскользь и вполголоса, а лучше – не говорить вообще.

Они забыли историю, впрочем, знали ли ее вообще? Ведь «империя, которая должна умереть», не умерла в 1917-м. Она стала «красной империей», со всеми атрибутами державного величия. Церковь в этой империи вынесла тяжелейшие мучения, появились тысячи новомучеников и исповедников. Но все же Русская Церковь – выжила.

Зато русский либерализм и провозглашаемые им свободы закончились вместе с началом гонений на Церковь. После победы большевиков за несколько месяцев были уничтожены политические партии, свобода собраний, свобода слова, свобода печати, свобода выезда за рубеж – все, что так дорого было прогрессивным русским интеллигентам, да и нынешнему «креативному классу». Понимают ли сегодняшние борцы с Богом и Его Церковью, что очередной выстрел может вновь обернуться для них смертельным рикошетом?

Тогда, сто лет назад, попытка разрушить Церковное государство удалась, а народы России удалось заразить богоборческими идеями. Результатом такого богоотступничества стало уничтожение десятков миллионов людей и три самых страшных в истории человечества войны – две мировых и одна гражданская, отзвуки которой слышны по сей день, искры которой в обществе тлеют и сегодня.

Что случится на этот раз, если они добьются своих целей в борьбе с Богом и Его Церковью? Воцарится ли во всем мире новая, тотальная диктатура, с тираном более страшным, чем во всей истории человечества? Произойдет ли в России своя, локальная катастрофа, с жуткими последствиями для тех, кто ее организовал?

Прогнозировать невозможно. Но мы знаем, что наш материальный мир существует по молитвам святых к Богу и до тех пор, пока такие молитвы возносятся. Когда святых в земном мире не станет, тогда не станет не только России, Бог завершит существование всего мира.

Пока существует Русская Православная Церковь, она продолжит рожать святых. Об этом говорили сами святые в своих пророчествах о России, которая не исчезнет до конца времен.

И поэтому Россия должна жить.

Часть первая

Осень 1904 года

В январе 1904 года Япония, без объявления войны, атаковала российские корабли на внешнем рейде Порт-Артура. Русское общество не знало и не хотело знать, почему война на Дальнем Востоке так затянулась. Что Транссиб еще не достроен и движение по нему ограничено паромной переправой через Байкал. Что объединенный японский броненосный флот сильнее русских эскадр, разбросанных по нескольким морям. А главное, что Япония – первоклассная военная держава и подход к конфликту с ней по меркам колониальных войн, вроде подавления восстания в Китае (1900 год), недопустим.

К концу первого года войны внутренние проблемы России оказались важнее новостей с театров боевых действий. Крестьяне мечтали о разделе помещичьих имений. Пролетариат не был доволен фабричным законодательством. На окраинах империи случались погромы и столкновения.

Но самое главное, образованное общество, в первую очередь столичное, давно признало самодержавие устаревшей формой правления и мечтало о его свержении. Для противников самодержавия существовал свой пантеон героев, от Стеньки Разина до террористов-народовольцев. Пропуском в этот пантеон была борьба против государства в любой форме, от разбоя до царубийства. Идеология неприязни к самодержавию и исторической России вообще пронизывала всю систему образования, от земских школ до университетов и даже духовных училищ.

Не было единства и в правящей элите. Министр финансов Витте считал военное поражение полезным для России. Другие центры влияния, группировавшиеся вокруг Великого князя Сергея Александровича, выступали против любых политических изменений, зато были сторонниками рабочих союзов, выдвигавших только экономические требования. Один из таких союзов в Петербурге возглавил священник Гапон.

Возобновился подпольный террор: его жертвой стал министр внутренних дел Плеве. Осенью в Париже состоялась «Оппозиционная конференция», объединившая все силы, выступавшие за ограничение или свержение самодержавия, от либеральных земских деятелей до польских и финских националистов. Русские участники конференции не знали или не хотели знать, что ее организатор – создатель Партии активного сопротивления финн Конни Циллиакус регулярно получает деньги от японского полковника Мотодзиро Акаси.

Вера

Тот, кто решил жить для народа, должен быть с народом. Поэтому Верочка купила билет в вагон третьего класса. Маменька спорила недолго: если дочь добилась разрешения учиться на Бестужевских курсах в Санкт-Петербурге, то в каком вагоне она поедет, не так и важно.

Да и билет третьего класса самый дешевый.

Поезд от Орла шел почти сутки. За это время Верочка не то чтобы разочаровалась в народе, но устала от него. Подумала: прежде она общалась с простыми людьми когда хотела и сколько хотела. Например, привез мужик дрова, сгрузил, маменька с ним рассчиталась, а Верочка спросит: как урожай, хватает ли земли, есть ли школа в селе? Спросила что хотела, попрощалась. Если мужик болтлив не по делу, разговор можно прервать.

В третьем классе каждый едет до своей станции. И не молчит.

Поначалу Верочке было интересно. Федя, вечный студент-недоучка, сосланный в провинцию да там и оставшийся, объяснил ей: чтобы просвещать народ, важно понять, насколько он темен. То, что народ темен, Верочка понимала и раньше. Но не представляла насколько.

Прежде всего, народ был в патриотическом угаре. Обсуждал войну, удивлялся, почему еще японца не победили? Пожилой дьячок рассказал, как в соседнее село пришла весть о солдате, погибшем в далекой Маньчжурии. Все вздохнули, но никто не возмутился. «Война – дело царское», – заметила пожилая купчиха, в синем горошистом платочке.

Верочка помнила, что Федя говорил про войну. Что после Крымской войны, когда просвещенные мореплаватели – англичане – и республиканцы – французы – победили Россию, царь отменил крепостное право и начал другие прогрессивные реформы. А еще что наше офицерство – реакционное – и чем больше полковников Скалозубов и унтеров Пришибеевых убьют в этой Маньчжурии, тем лучше. Некому будет в России расстреливать забастовщиков, как недавно в городе Златоусте.

Тот, кто решил служить народу, должен не только его слушать, но и просвещать. Верочка занялась этим прямо в вагоне. Но убеждать народ надо уметь, а Вера – не умела. Что такое «реформы», попутчики не поняли. «Податей платить не надо будет?» – заинтересованно спросил сосед-крестьянин. Верочка не знала, отменят ли подати после реформ, не стала врать, и крестьянин остался без ответа.

Еще хуже вышло, когда понадеялась вслух, что в Маньчжурии погибнут реакционные офицеры и унтеры. Один попутчик как раз оказался бывшим унтером. Желчно спросил барышню: если нашу армию побьют, кто же тогда вас, барышня, защитит? Вспомнил давнюю войну в Болгарии, как башибузуки – турецкие головорезы расправлялись с крещеным народом. «А таких девиц, как вы, барышня, сразу, конечно, не убивали», – договорил с сальной интонацией.

Самое обидное: и дьячок, и купчиха, и даже симпатичный мужик – рассмеялись. Верочка обиделась, отвернулась к окну. Хорошо, что ей достался уютный уголок: устала от разговоров, отвернулась и вроде как в стороне. Только слушаешь глупые рассуждения соседа-унтера, что турок тоже не сразу победили, хотя все кричали, что сразу. Значит, и японца победим. «Только если барышни не будут чайть, чтоб японец офицерство наше пострелял», – добавил отставной вояка. «Пришибеев, какой Пришибеев», – шептала Верочка пейзажу за окном.

Пейзаж не радовал. Это поэт-демократ Некрасов восторгался опавшими листьями, здоровым-ядренным воздухом. Верочке достался моросящий дождик, хмарь, почерневшая листва поздней осени. Оставалось и дальше слушать попутчиков.

Народ, поговорив о войне, перешел к суевериям и предрассудкам. О том, как быть, если скотину сглазили. О том, как ревнивая соседка навела порчу на молодуху и был выкидыш. Посмеялись над грубой байкой, как другая молодуха мужа обманывала – изменяла с волостным

писарем. Пошли такие же истории, про кумов, про снох и зятьев, кто кого обманул. От этого сельского «Декамерона» Верочка даже задремала. Лишь иногда бормотала: «Мрак, темнота».

Проснулась, когда отставной унтер начал рассказывать действительно интересную историю. А начал с нее, Верочки.

– Барышня эта, – сказал он тихо, – у земцев нахваталась. Гостевал у меня племяш, рассказывал про безобразие в своем уезде. Земский учитель не только с ребятами, с мужиками беседы вел. Говорил, мол, все барское добро на самом-то деле – ваше. Мужик как полено сырое: пошипит, подымит, разгорится. Пошли на усадьбу, хлеб из амбаров вынесли, скотину по дворам разобрали. Управитель ружьем грозил, голову проломил. Кончилось как и положено. Военская команда пришла, добро со дворов в усадьбу вернула. Кто воровал – розог, кто управителя бил – в каторгу. А учитель-земец уехал в другой уезд, деток дальше учить.

Кто-то вспомнил, как в другой земской школе учитель раздавал книжицы от Льва Толстого о том, как всем надо в простоте жить. Дьячок напомнил, что Толстой отлучен от Церкви. Соседи стали спрашивать – за что? Неужто совсем уж безбожно озоровал с девками в своем имени? Дьячок пояснял – за гордыню и богохульство в своих книгах.

Верочка стискивала зубы, чтобы не ворваться в спор. Она ведь сама была в Ясной Поляне в прошлом году. Встретилась на аллее с графом, который уже сам себя графом не называет, поведала о своей мечте: кончить курсы, пойти в сельскую школу, учительницей. Лев Николаевич шутливо отговаривал, мол, из вас выйдет замечательная жена. Но маменьке написал короткое письмо о том, что видит в Вере Николаевне настоящую народную учительницу. Да еще подписался: «Граф Толстой».

А они: «Озоровал, гордился, богохульствовал!» Как им объяснить, что Лев Толстой был отлучен за то, что истинно верил в Бога! В отличие от церковников, которые, по словам Феди, верят только в деньги!

За окном давно стемнело. Разговоры становились тише, а потом замолкли совсем.

* * *

Верочка пробудилась поздно – первый луч осеннего солнца уже проник в вагон через мутное стекло. «Утро, солнце, свобода, – улыбнулась она. – Не разбудит маменька, не станет докучать: „Ты помолись, доченька“».

Если говорить честно, маменька с молитвой не особенно и докучала. Как там маменька, тревожится? Надо ей письмо отписать, как приеду.

Голоса попутчиков стали незнакомы: за ночь в Москве и Твери подсели новые пассажиры.

– Это не вера, милостивые судари-с. Это духовная корпорация. – Голос был хорошо поставлен, как у адвоката, но чувствовалось нескрываемое раздражение. – Все эти гастроли по России, дома трудолюбия, с сонмом благотворителей, напечатанные молитовки, дешевые литографии на грязных стенах. За всем этим – денежные ручейки и реки, в чей-то карман-с.

«О ком это?» – подумала Вера и почти сразу же получила ответ.

– А вы знаете, мил сударь, какое прошение подала в консисторию супруга отца Иоанна? – ответил спокойный, взрослый баритон. – Попросила выдавать ей зарплату мужа, чтобы тот не успевал все нищим раздать. Деньги к отцу Иоанну и вправду текут. Только вытекают сразу же, в дома трудолюбия. А насчет литографий, это, помните, еще поэт Некрасов мечтал о временах, когда народ «не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет». Милорда народ больше не несет, верно, думает, что он и есть муж англичанки, которая нам гадит. А вот пастыря Иоанна – несет. Насчет Белинского, тут уж извините, народу молитвы отца Иоанна близки к сердцу, а статьи Белинского в житейских скорбях не помогают-с.

Про отца Иоанна Кронштадтского Верочка слышала не раз. Как-то маменька заговорила о нем с батюшкой, заглянувшим с поздравлением на Пасху. Батюшка был простоватый, тихий, смущался в господском доме, но именно поэтому никак не походил на эксплуататора и обманщика народа. Пил чай с маменькой, шутливо жаловался, что возле Питер-града есть Кронштадт, то ли город, то ли остров. А там священник, который служит литургию каждый день. Как бы Священный Синод не заставил так же служить и все русское духовенство. Но раз Господь дает на это силы отцу Иоанну, даст и ему, бедному пастырю.

Между тем адвокат продолжал рассуждать о том, что не дело, когда Церковь занимается благотворительностью. Пусть приюты и работные дома создают за счет земств, городов, а лучше – казенного бюджета, сократив военные расходы: «Бедняков гонят на убой в Маньчжурию, лучше бы о них казна позаботилась в России».

Не успела Верочка с ним согласиться, как рассуждения адвоката прервала женщина в скромном сером салопе, вдова мелкого чиновника.

– Позвольте мне сказать. Я книг и газет не читаю, зато жизнь вижу. Брат мой Егорка совсем с пути сбился. Пил беспробудно, как жена померла, мне плакался: «Хочу без водки жить, только „казенка“ меня сильней». Ночевал в ночлежках, все на водку спускал. Ему подсказали московский Дом трудолюбия. Там и ночлег, и стол, и работа легкая, а водки – нет. Год прожил, превозмог змия. И никогда городская управа его бы не спасла. Только отец Иоанн.

Спор продолжился. Верочка решила твердо, что в Петербурге непременно съездит в Кронштадт, побывает на службе отца Иоанна. Федя, правда, говорил ей, что все общества трезвости, чайные, в которых не подают водку, фабричные общества без политики – вредны, отвлекают от борьбы с самодержавием. Но тут Вера была с ним не согласна. Ведь сам же говорил: жить надо для народа, помогать ему. А что народ пьет, это Верочка видела сама.

Пока слушала разговоры, заочно спорила с Федей, за окном стали мелькать неказистые, закопченные паровозным дымом домишки. Вагоны, склады, заборы. Поезд прогрохотал по железному мосту, и почти сразу Верочка увидела высокие кирпичные здания.

«Вот я и в столице», – подумала она.

В июне 1904 года в британской газете «Таймс» появилась статья Льва Толстого «Одумайтесь!». Она осуждала войну как таковую, однако фактически обвиняла лишь одну сторону – Россию.

«Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет, что, несмотря на все заботы свои о сохранении мира (заботы, выразившиеся захватом чужих земель и усилением войск для защиты этих захваченных земель)...»

«И не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвещенных людей, ничем и никем к этому не побуждаемых, как профессора, земские деятели, студенты, дворяне, купцы, выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам...»

«Без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем, к которому они, по меньшей мере, совершенно равнодушны, уверяя его в своей беспредельной любви и готовности жертвовать для него своими жизнями...»

«И несчастный, запутанный молодой человек (*царь*), признаваемый руководителем 130-миллионного народа, постоянно обманываемый и поставленный в необходимость противоречить самому себе, верит и благодарит и благословляет на убийство войско».

«Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неописуемый восторг в народе».

«Все подносят друг другу безобразные иконы, в которые не только никто из просвещенных людей не верит, но которые безграмотные мужики начинают оставлять...» *Выражение «безобразные иконы» в тексте статьи будет употреблено дважды. Молитвы на церковнославянском языке Толстой назвал «напыщенными, бессмысленными и кощунственными».*

«Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроем ехали на телеге. Он был немного выпивши, лицо жены распухло от слез. Он обратился ко мне:

- Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток.
 - Что же, воевать будешь?
 - Надо же кому-нибудь драться.
 - Никому не надо драться.
- Он задумался».

Статья встретила восторженный прием европейской прессы. Лишь во французской консервативной газете *Journal des Debats* было замечено: «Что сказал бы Times, если бы во время трансваальской войны какая-нибудь французская газета напечатала статью англичанина, который требовал бы, чтобы англичане положили оружие даже в том случае, если Кап и Дурбан, не говоря уже о Лондоне, попали бы во власть буров?»

Вопрос был риторическим. Англо-бурская война (1899–1902 годы), хотя и началась с серьезных поражений Британии, привела к патриотическому сплочению английского общества. Призывы к одностороннему прекращению войны были малозаметны и маргинальны.

Петр

Петька бежал со всех ног. Задыхался, спотыкался, всхлипывал. Раз чебурахнулся с разбега, но вскочил и помчался дальше, хотя за ним никто не гнался.

Задыхался, потому что бежал долго. Всхлипывал со страха, а еще потому, что не знал, куда бежит. Главное – подальше от Малой Ордынки. Еще лучше – подальше от Замоскворечья. Еще лучше – подальше от Москвы.

«Убьет», – сказал вчера повар Илья Иванович. «Ууу-бью!!!» – ревел хозяин трактира, Гаврила Степанович Маслов. «Убьет», – соглашался с ними Петька и всхлипывал на бегу.

Сегодняшнее несчастье началось с везения. Впрочем, как сказать. К четырнадцати годам Петька так и не понял, повезло ему в жизни или нет. То, что отца почти не запомнил, а мать умерла, когда ему было десять лет, – это не то что не повезло, это горе. Повезло, что матушка, когда пришел отец Георгий причащать, попросила дьячка Тимофея присмотреть за Петькой, чтобы не попал малый к злым людям.

Дьячок пообещал. Искал подходящих соседей. А так как не преуспел в поисках, взял Петьку на свой двор – жил вдовцом. Сироту не обижал. Там, где другой уж давно не пожалел бы подзатыльника и обозвал лентяем, лишь укоризненно шутил: «В мечтательность впал или безмолвную молитву творишь? Мечтательность – грех, а помолимся вместе, когда огород докопаем».

Дьячок Тимофей был добр ко всем: к Петьке, односельчанам, даже домашней скотине. Не обижался на отца Георгия, с его старческим ворчанием и придирками на пустом месте. Напротив, тенью ходил за ним на службе, подсказывал своевременные молитвы. И лишь тихо вздыхал, когда батюшка путал великий выход с отпуском.

– Дьячок наш – профессиональный суфлер, – как-то заметил дачник, студент-художник, заходивший с мольбертом даже в храм. Дьячок только улыбнулся, когда Петька передал эти слова, и объяснил: суфлер – человек, который в театре подсказывает актеру забытые слова. Что такое «театр», Петька не понял, но незнакомое слово запомнил.

В свободное время, а его было немало, Петька следил за студентом. Видел, как тот открывает мольберт, садится на табуретку. И на холсте появляются облака, дальний бор, серые крыши деревеньки, белая церквушка. Причем такие облака, такая синяя дымка над ельником, что глазами не каждый раз увидишь.

Нашел дома обломок карандаша, клочок бумаги, стал рисовать. Как студент-художник – рисовал все, что видел. Огород, корову Пеструшку, входившую во двор, даже печку и старый шкаф.

Дьячок увидел, не заругался, наоборот, улыбнулся. А через месяц, на день ангела, подарил Петьке тетрадь и два карандаша.

* * *

Приход был бедный, благотворителей и благоукрашателей не находилось. Однажды дьячок сказал Петьке:

– Роспись в храме поновить надо, а живописца не нанять. Завтра я, грешный, этим займусь, ты поможешь. Узнаешь, что человеку дар Господний даден не только Пеструшку рисовать.

В этот вечер дьячок был немногословен. Не ужинал, говорил, что, когда к священной росписи приступаем, надо поститься. Долго молились. Петька лег спать голодный и усталый. Но спалось легко и нетерпеливо, как перед праздником.

Он и прежде часто взирал на росписи храма в честь Петра Московского. Особенно художнику удалось Преображение, когда Господь беседует на горе Фавор с Моисеем и Илией, в удивительном, невиданном белом свете. А неподалеку – апостол Петр, в ужасе и восхищении.

Казалось, это ангелы нарисовали. Петька понимал – люди. Они и должны поновлять роспись.

Но кроме Фавора была еще одна, страшная картинка, для Петьки – страшнее Голгофы. Пусть маленькая, внизу на стыке стен. Петр у костра говорит людям: «Я не знаю этого человека». Отрекается от Господа. Эти слова не были написаны, их сказал дьячок, и Петька запомнил на всю жизнь.

– Как он мог? – спросил однажды он. – Ведь Петр был на горе, видел неземной свет. Иуда не был, не знал. А Петр?!

– Свет вместил «яко можаху», – ответил дьячок после раздумья. – А отрекся по слабости человеческой. Много было таких, кто отрекался и уходил. Чтобы отречься, вернуться, покаяться, свой крест нести – вот это непросто.

В тот день Петька больше помогал: держал лестницу, приносил краски. Но все же дьячок велел ему сначала обновить краску на одеждах, потом на ослиати, на которой Спаситель въехал в Иерусалим. И только убедившись, что рука и глаз не подведут, позволил обновить лики.

– Иконы тебе писать, а не пасти Пеструшку, – сказал в тот вечер дьячок. – Найду хорошее училище, скреплю сердце, отпущу внучка-помощника.

* * *

Должен ли был Петька сердиться на доброго дьячка Тимофея? Наверное, должен. Дьячок так хорошее училище и не нашел – может, дел невпроворот, может, недуг не дал силы для дальних поездок. А может, и лукавил по внутренней слабости, не хотел отсылать Петьку. Тот был и хорошим учеником по всем наукам, какие мог преподавать дьячок, и самым лучшим помощником во всех делах. А потом, к счастью для дьячка недолго, оказался хорошей сиделкой...

Дьячка схоронили. Объявившийся наследник двора не то чтобы был плохим человеком, но решил сбыть Петьку «в люди», в Москву, куда регулярно отправлялись мальчишки из Ярославской губернии. Поручил паренька своему куму, дал Петьке на счастье серебряный рубль.

С кумом Петьке повезло, потому и повезло с местом. Кум так и говорил в дороге, что абы куда его не приткнет – «затюкают тебя, такого скромнягу». Навел справки, отвез Петьку в трактир «Самарканд». Хозяину, Гавриле Степановичу, Петька приглянулся.

– Грамотный, значит, – удовлетворенно хмыкнул он, – и умытый, и скромный. Это все плюсом пойдет. А шустрить – научишься. Только не воруй да меня не сердь.

И посмотрел на Петьку глубоким взором, полным доверия и затаенной грозы.

Поначалу Петьку определили на кухню, помогать повару Илье Ивановичу. Он пояснил, почему хозяина сердить нельзя. Рассказал, как в прошлом году похмельный половой, обещавший, что заведение не опозорит, взялся обслужить кабинет для чистой публики, опрокинул графин вина на гостей, а те зареклись заглядывать в трактир Маслова.

– Видишь табурет? – продолжил повар. – Сломать можешь? А хозяин о Ваньку сломал. Денег потом много платил, с полицией договорился...

– Убил? – ужаснулся Петька.

– Не до смерти, – вздохнул повар. – Но Ванька теперь годится только Лазаря петь. Не работник.

Следующим днем Петьку поставили шустрить в большой зал. Вечером хозяин разгневался на него не меньше, чем на полового Ваньку.

Дело было так. В чистый кабинет явилась приличная компания, потребовала музыку. Буфетчик велел отнести граммофон в кабинет. Петька ходил по трактиру, как по музею –

никогда не видел вокруг столько стеклянной посуды: графины, бокалы, многоуровневые ряды рюмок, кубки для лампопо. К граммофону даже и приближаться не решался. Казалось, крутить его латунную ручку может быть доверено лишь серьезному господину в мундире или фраке, а не рябому буфетчику в засаленном жилете.

Теперь граммофон было доверено нести Петьке. К тому же музыкальная машина еще и пела:

*Сердце красавиц
Склонно к измене
И к перемене...*

Канцона звучала так громко, что слова были не слышны. Петька и не слушал, а глядел на стены коробки граммофона. Явственно видел всадника, одетого по-иноземному, готового пронзить копьём змия.

Пригляделся, стараясь разглядеть мускулы коня. Разглядел мускулы. А вот порог не заметил...

Гром музыки сменился грохотом. Петька задержался на коленях, вглядываясь в раскатившиеся пружинки, колесики, металлические и эбонитовые детальки. Гости, шумевшие в кабинете не тише граммофона, замолкли. Видимо, каждый из них мечтал когда-нибудь разглядеть, что внутри музыкального ящика с огромным растробом. Мечта сбылась.

Петька ни о чем не думал. Он просто все понял. А заодно вспомнил, что, выходя в зал, оставил котомку, с которой приехал в Москву, возле большого буфета. А буфет, на счастье, был возле двери.

Петька успел схватить котомку, кинуть на плечо. Еще не переступив порог, он услышал далекий рев: «Ууубью!!!» Гавриле Степановичу не надо было осматривать место происшествия. Он догадался обо всем по грохоту.

* * *

Петька перешел с бега на шаг, лишь покинув Замоскворечье. Слева мелькнули огромные стены и башни. Петька вспомнил литографию на стене в сельской лавке и понял, что это Кремль.

Куда идти, он не знал. Догадывался: если идти не сворачивая, рано или поздно выйдешь из Москвы. А дальше? В родном селе его не ждали.

Петька долго мыкался по темнеющему городу. Когда пошел мелкий дождик, старался держаться ближе к крышам домов – облетевшие деревья не защищали. Потом утомился настолько, что, зайдя под одну из ниш возле стены, задремал...

Пробудился оттого, что его дернул за шиворот человек в мундире, с саблей на поясе. Петька сообразил, что это не военный, а городской.

Полицейский что-то спросил. Петька назвал свое имя. И увидел среди зевак-прохожих господина из тех, кто в трактире Маслова мог сидеть только в чистом кабинете. А еще незнакомец чем-то напоминал студента-художника.

Господин листал Петькин альбом. Особенно долго глядел на рисунки животных: лошадей, птиц, коровы Пеструшки.

Потом спросил:

– Ты рисовал?

Петька кивнул, а господин сказал:

– Пошли со мной.

Городовой не возражал. Петька – тоже.

Павел

Топилась изразцовая печь, в черном чугунном радиаторе булькала вода, но все равно в отцовской комнате было холодно. И немудрено: по настоянию Ивана Никитина, купца первой гильдии, окно открыто день-деньской. Ивану Павловичу не хватало воздуха.

«Странно, – отстраненно думал Павел, его сын, – в мире, да что в мире, в самой Москве, миллионы бедняков. Им не хватает еды, они живут в тесных и душных лачугах. Но едва любой из них захочет вдохнуть полной грудью, обездоленному человеку достаточно выйти за порог. А отцу не вздохнуть полной грудью, даже если выломать каменные стены».

Не дышалось ему полной грудью и в Сорренто – далекий южный курорт рекомендовали врачи. Конечно, теплым итальянским лимонным воздухом дышать легче, чем осенним московским дождем. Но из итальянской виллы руководить делами нелегко. Когда основатель торгового дома «Никитин» понял, что его отсутствие в России приносит предприятию убытки, попрощался с Сорренто и примчался в Россию двумя экспрессами.

Вошел в особняк на Тверском бульваре, опираясь на трость. Под правую руку поддерживал старший приказчик. Павел хотел помочь, но отец демонстративно оттолкнул его руку.

В кабинете сел за стол – ведомости всех фабрик и магазинов уже были разложены. Читал без отдыха три часа подряд: приказчик стоял по струнке, как часовой у царского дворца. Дочитал, сбросил бумаги со стола, велел положить чистый лист. Продиктовал приказчику, кого и где немедленно уволить, какой филиал закрыть. Спросил, сколько выдавалось наличными Павлу, велел позвать.

Сын эти часы лежал на диване с открытым учебником – экзамен на носу. С отцом был негласный договор: сын-студент берет столько наличных денег из главной кассы торгового дома, сколько ему нужно. На учебу, костюмы, театр, рестораны, лихачей, гризеток. Меру определяет сам.

Судя по настроению отца, чувство меры сыну отказало.

Когда Павел вошел, Иван Павлович коротко приказал:

– Раздевайся. Что «нет»? Моя воля! Не слушаешь – ступай из дома и не возвращайся. Сейчас ступай!

Павел вздрогнул, снял жилет, рубашку... Когда остался в исподнем, отец резко сказал: «Хватит». Показал пальцем на голые плечи сына:

– Это у тебя – от Бога. Вот это, – показал на грудку одежды, – от меня! Запомни и одевайся.

Павел одевался, путался в штанинах и рукавах, дрожал от гнева и радости одновременно. Он понял: папашу уведомили, сколько взято денег. На что взято – не сказали.

* * *

Павел вступил в партию эсеров на первом курсе университета, еще до того, как отец, с остатками легких, отправился в Сорренто. Легальные марксистские книги и нелегальные брошюры народовольцев читал еще в гимназии. Иван Павлович, увидев однажды на столе огромную книгу под названием «Капитал», зауважал сына.

Социалисты-революционеры нравились Павлу больше социал-демократов. Эсдеки раскололись на большевиков и меньшевиков, было непонятно, кто из них лучший защитник интересов трудящихся. Эсеры собирались не уничтожить полностью капитализм, а лишь дать рабочим больше прав. В глубине души Павел одобрял партию, которая не отберет его наследство после революции.

И, наконец, эсеры не только распространяли нелегальные брошюры, как эсдеки, но также занимались делом – терактами.

Для брошюр, для подготовки боевых групп, для подпольной работы вообще были нужны средства. Павел понимал, почему его не привлекают к терактам, не переводят на нелегальное положение. Он был безотказным и бездонным кошельком боевой организации эсеров.

Скрываться Павлу приходилось не от полиции, а от домашних. Он, помня негласный уговор с отцом, щедро запускал руки в наличную кассу, а потом делал вид, будто деньги прогуляны. Выпивал половину бокала шампанского, второй половиной кропил студенческий мундир. Недалече от дома брал лихача, чтобы пошатываясь выйти у крыльца из пролетки. Лихач ухмылялся, но не подавал вида – мало ли барских чудачеств.

Однажды пришлось сразу взять пять тысяч – на обустройство новой типографии. Управляющий Петр Степанович сделал вид, что не заметил. Но, скорее всего, отцу в Сорренто отписал или телеграфировал. Знал бы папенька, на какой «загул» пошли деньги...

* * *

С приездом отца в доме появились два диктатора. Иван Павлович властвовал над домом, доктор Шторх – над Иваном Павловичем и домочадцами.

В первый же вечер, когда отец покинул кабинет и лег в постель – больше не вставал, доктор собрал домочадцев для важного разговора. Почти не сыпал латинскими терминами, говорил коротко, строго и понятно.

– Болезнь неизлечимая, но прожить с ней можно долго. Самое главное для нас – не позволить Ивану Павловичу задохнуться во сне. Возле кровати всегда дежурит сиделка, чтобы дать укрепляющие капли и сделать инъекцию. У Ивана Павловича – бессонница, и это хорошо. Приступы приходят ночью, он бодрствует и принимает лекарство. Выспаться может и утром, когда ночная опасность миновала. Вам понятно?

Слушателям было понятно: хозяин должен засыпать с утра, а не с вечера. Единственной психологической ошибкой доктора стало то, что он не позвал для разговора Лимпиаду – древнюю, полуслепую няньку Ивана Павловича. Добрая замоскворецкая старушка так и не поняла, почему хозяин всю ночь читает бумаги, полусидя в постели, а засыпает лишь с восходом. Считала, что сон в правильное время – лучшее лекарство. Сиделкам то и дело приходилось перехватывать ее на дальних подступах к спальне с вечерним травяным настоем, от которого Иван Палыч будет как младенец спать.

Павел был в стороне и от борьбы с Лимпиадой, и от борьбы за здоровье отца. Каждое утро он отправлялся в университет. Осенью, правда, началась очередная студенческая забастовка, поэтому он просто встречался с товарищами, обсуждал последний номер «Революционной России» – заграничной газеты. Спорил о том, настоящий либерал новый министр внутренних дел Святополк-Мирский или он только чуть умнее, чем предшественник Плеве, казненный в июле Боевой организацией – БО. Павел уже выучил словарь эсеров: царский сановник не убит, а «казнен».

Павел не без гордости осознавал, что в этой казни есть и его вклад. Вот только кошельком для товарищей он уже не был. Теперь отец выдавал сто рублей в месяц – на эти деньги можно угостить товарищей, а вот на динамит – не подкинешь.

* * *

Этот день грозы не предвещал. С утра Павел поехал в университет. Встречался в библиотеке с товарищем Мишей Зиминим. Тот, едва ли не в первый раз, спросил: когда удастся найти деньги для БО? Немного, две-три тысячи рублей.

Павел опять начал жаловаться на своего отца-реакционера, замшелого ретрограда, эксплуататора трудящихся.

– И что за жизнь у него?! – горячился сын. – Вдовец, даже когда здоров был, не захотел опять жениться. Не ест, не спит, только в расчетах! Царь Кашей над золотом чахнет! Только и дел ему осталось, что доходы считать да тиранить меня и рабочих.

Миша печально усмехнулся. Уточнил, про царя Кашея – это ведь Пушкин? Спросил, хотя, верно, и сам знал. Быстро прошел мимо библиотечных полок, отыскал нужный том. Принес, раскрыл на странице в первой сцене «Скупого рыцаря», где Жид предлагает Альберу яд – ускорить смерть Барона.

«Собака, змей!» – некстати прочитал Павел следующую строчку. Но про себя. Укоризненно посмотрел в глаза Мише. Вдохнул, пробормотал: «Это уж слишком, разве так можно?»

Приехал домой и сразу был вызван к отцу. Даже обрадовался: захотелось убедиться, что папенька жив.

Иван Павлович был не то что жив, даже немножко бодр. Полусидел, прихлебывал горячий чай. Увидев сына, отложил газету.

– Здравствуй, душка Павлушка, – энергично прохрипел он.

Павел вздрогнул. Слово «душка» ничего хорошего не сулило.

– Выходит, университет твой второй месяц бастует? А ты, молчун, едешь туда? И не говоришь отцу? Должна быть причина.

...Доктор Шторх сказал, что отцовская легочная болезнь не заразная. Все равно Павлу показалось, будто он болен ею в терминальной стадии. Лишь прохрипел в ответ какую-то невнятицу.

– Бастует и ладно, – весело продолжил отец тем же страшным хриплым тоном. – Запомни нашу купецкую мудрость: что деется, все к лучшему. Раз тебе такие каникулы выпали, съездишь в торговый вояж, подальше от московских баламутов. Не один, с Петром Степанычем. В оренбургские степи прокатитесь, посмотреть на наших закупщиков. Спросить, почему такую дурную кожу присылали стали? Отладите закупку, вернетесь к Рождеству. Заодно ты помотришь, откуда деньгам нашим начало берется.

«От труда эксплуатируемых рабочих!» – подумал Павел. А перед глазами – заснеженная степь, душные, грязные домики, угрюмые скотоводы.

Между тем отец протянул ему сторублевку.

– Держи «катеньку». Съезди к своей гризетке, – сказал с хриплой усмешкой, – простишь. Прокатишься, голову проветришь. Вернешься, найдем тебе девицу, поженим. Не тани с прощанием, за билетами уже послано. Завтра в путь.

Обалделый Павел поцеловал руку папеньке и вывалился из дверей. Там его ждал Петр Степанович, решивший, что хозяйский сын поступил в его распоряжение уже этим вечером.

– Павлик, слышал я, ты сейчас проедешь по своему делу, – елеиным голосом сказал он. – Тогда заодно съезди в аптеку за каплями. Да не задерживайся, дрожки заложены.

«Уже помыкать начал», – вяло подумал Павел.

* * *

Кучер качал головой и вздыхал. Сын хозяина велел ехать в третью аптеку, в первых двух капли не нашлись.

На самом деле в голове Павла звучали слова Лимпиады. Она перехватила его на выходе, сжала ладонь сухонькой ручкой, зашептала:

– Пашенька, теперь и мне не заснуть, об Иване Пальче думаю. Как же он каждую ночь мучается! Ему бы по-людски поспать надо. Пашенька, коль меня с травами не пускают, ты в аптеке купи барское лекарство для сна. Не то совсем папеньку заморим.

Павел вырвался. Но уже в коляске пробормотал: «Вокс попули, вокс Деи».

Подъехал к аптеке, взглянул на освещенную витрину. Велел ехать к следующей. По пути смотрел в темное, пасмурное небо, чуть подсвеченное электрическими и газовыми фонарями. Представлял мрачную степь. Представлял, как встретят товарищи по возвращении. Как скажут: не нашел денег и сбежал. Не знаем тебя отныне.

В третьей аптеке решился.

– Вот рецепт, – сказал он провизору. И чуть тише, после паузы: – Подберите, пожалуйста, хорошее снотворное. Чтобы человек с бессонницей спокойно проспал до утра.

Александр

Попутчик Александра, пожилой прокурор, сразу извинился и задремал. Можно сказать, Александр остался в купе один. В блестящем, лакированном, светлом купе, комфортном, как номер гостиницы высшего класса. На столике покачивался стакан с остывшим чаем – официант не понял, кивнул пассажир или отказался, но на всякий случай – подал.

Александр переоделся в трико и дорожные панталоны. Новенький мундир подпоручика гвардии покачивался на вешалке. Когда-то он мечтал о нем, даже видел во сне. Теперь же был равнодушен, будто это солдатская шинель.

Поезд мчался на юго-запад, вдогонку за уходящим осенним солнцем. Еще три дня назад Александр был уверен, что в это время будет ехать на восток, в Маньчжурию, на войну. Вместо этого он направлялся служить в оккупационный гарнизон.

* * *

Причиной стала канальская история, приключившаяся с Александром Румянцевым прошлой осенью. Виноват, конечно, был он, потому что в свое время не послушался мудрого совета Фофанова.

– Сашура, – растянуто, немного грассирующе говорил он, как большинство юнкеров из личных дворян, уверенных, что изображают потомственную аристократию, – не любишь пить – не пей. Не в кавалерию идешь, там надо любить. Ты просто научись пить.

Александр, на беду, не научился. На именинах Миллера, ротного унтера, закатились в трактир «Вена». Поначалу пили кто что хотел – Александр предпочел пиво. Но уже скоро именинник потребовал поднять за него русской хлебной.

Выпили. Пошли другие тосты. Когда провозгласили за Государя, Александр поднял стакан, пригубил, поставил. Кто-то из юнкеров возроптал. Но князь Церетели заглушил ропот ударом бутылки о бутылку. Сказал в тишине:

– Не выпить ли за русскую свободу? – И, улыбаясь, наполнил стакан Александра так, что легкая волна водки поцеловала верхнюю кромку.

Александр улыбнулся в ответ. Осушил, не расплескав, не поперхнувшись. Поставил под смех и аплодисменты друзей.

Хохочущие юнкера впали в водочный либерализм. Предлагали и опрокидывали за республику, за Конституцию, за ее мужа Константина, вспомнив старый анекдот про декабристов. «За Стеньку Разина!» – орал Фофанов, родом из Царицына.

Потом стали спорить, Гришка Отрепьев бунтарь или нет? Доспорились до бессмысленного и беспощадного. Зазвенели стекла, хрустнула мебель. В одно окно вылетел фикус, в другое, одновременно, официант. Слышались свистки, мелькали посторонние мундиры...

Александр успел допить еще один стакан, налитый за Герцена, и не смог понять, кто же взял его в плен?

* * *

Сутки спустя состоялся разговор с директором училища генералом Иваном Генриховичем Шильдером. За эти сутки Александр проспался, голова почти не болела.

Лицо Ивана Генриховича украшали шрамы войн, которые уже проходили по учебникам истории. Юнкеров в своем кабинете он распекал редко, а если и бывало, то при открытой двери в кабинет, чтобы не делать тайны.

На этот раз дверь была плотно закрыта.

– Протрезвел? – спросил он.

– Протрезвел, – четко ответил Александр, щелкнув каблуком. – Готов понести наказание.

– За пьянку и дебош – три дня карцера, – громко сказал седой генерал. И чуть тише: –

А с остальным как будем?

Муть, казалось, ушедшая из организма, бросилась в голову Александру. «Кто донес?» – то ли подумал, то ли прошептал он.

– Кто? – повторил генерал. – Не друзья же, товарищи. Ты планшет (офицерскую сумку) в трактире оставил, вчера половой принес в училище.

Поднял газету, прикрывавшую стул. На нем лежал планшет, а поверх него – брошюра, переданная позавчера другом Сержем Каретниковым, завзятым либералом и беспартийным социалистом.

– Отдельно валялась, – уточнил генерал. – Забавная книжица. «Ф. Энгельс. Социал-демократия и армия».

Открыл в середине, прочел:

– «Девушки должны целовать солдат, мужчины – стрелять в офицеров»... Умная стратегема уличного боя, хитрый сукин сын.

Муть превратилась в облако. Александр с трудом слушал дальше.

– Полового не отпустили, мне доложили. Я дал ему вдвойне на водку, расспросил, что он слышал. Сашенька, это правда, что ты орал: «Прикажут мне в рабочих стрелять, я командира застрелю и перейду на сторону рабочих со своей ротой»?

Александр решил так, когда узнал о недавнем расстреле бунтующих рабочих в городе Златоусте (июль 1903 года). Опять вытянулся, ответил:

– Да, говорил.

– А почему еще не отчислился? – спросил генерал.

Александр собрал силы, отчеканил:

– Чтобы стать офицером и присоединиться к восставшему трудовому народу со своим подразделением!

И начал разглядывать соринки на паркете, готовый развернуться, чтобы зашагать к воротам. Нет, вещи дадут собрать.

– А ведь юнкер – образцовый, – говорил сам с собой Иван Генрихович. – И по всем наукам, и по топографии, и по шагистике. Без скалозубства, без тупости, без либеральных фанаберий – мол, не моги меня в строю ровнять. Офицер бы отличный вышел. Вот что, – продолжил, повысив голос, – если остаешься, то оставайся. Но с условием. Когда будешь выпускаться, подберу тебе полк по своему усмотрению, по своей воле. Клясться не надо, мне от тебя одного «да» достаточно.

– Да, – сказал Александр.

* * *

Прошел год, началась война на Дальнем Востоке. Александр не сомневался – его пошлют на фронт.

На выпуске он, статный, правофланговый, образцовый юнкер, вышел из строя. Чеканя шаг, подошел к столику, объявить свой полк, имя которого не знал. Иван Генрихович, нарушив ритуал, протянул ему бумажку. Александр развернул ее, прочитал: «Кексгольмский полк Третьей гвардейской пехотной дивизии. Варшава».

Друзья умчались отмечать выпуск. Долго искали Александра с криками: «Без гвардейца не уедем!» Александр отсиделся в пустом геометрическом классе. Для надежности сидел долго, даже задремал. Вышел и отправился к Ивану Генриховичу.

Представился, как и положено подпоручику. На этот раз генерал предложил сесть.

– Я, Сашенька, нарочно не уезжал, знал, ты зайдешь. Приготовил отметить производство. Можно настойки, можно чаю, если не пьешь с той поры.

– Ответьте, Иван Генрихович, – Александр первый раз обратился к генералу по имени-отчеству, – почему так...

– Почему не отправил тебя в Маньчжурию, подпоручика Александра Румянцева, лучшего юнкера этого выпуска? – неторопливо сказал генерал. – Потому что, Сашенька, знаю, что с тобой там случится. Заляжет рота на сопке, ты вскочишь: «Впереед!» Рота встала, пошла, а ты – лежать остался. Япошка лучше турка стреляет. Нет, Сашенька, ты на другой войне погибнешь. Генералом, в Восточной Пруссии. Если когда настоящая война начнется, европейская, а у нас таких генералов, как ты, не окажется, не знаю, где остановим германцев. Может, под Москвой.

Александр мог бы сказать, что европейских войн уже не будет. Что вооруженный рабочий класс откажется стрелять в рабочих, одетых в шинели другого цвета. Но этот честный обрусевший немец поймет вряд ли.

– А почему?.. – неуверенно начал он вопрос.

– Почему Варшава? Почему будешь поляков угнетать?

Александр вздрогнул. Мысли слышит?

– Для того и посылаю тебя в Варшаву, чтобы на поляков в Польше посмотрел. На панов-добродзеев. А не судил о них по тем полякам, с которыми в Петербурге пьешь кофе и водку. И решил: перейдешь ли ты на сторону такого вот восставшего народа? Принципы у тебя есть и разум есть. Может, разум принципы и переборет. И тебя спасет.

* * *

За окном поезда давно стемнело. Мелькали станции с непривычными именами: Пондеры, Корсовка, Рушоны. Государство Российское, но уже не Россия.

Проводы на вокзале оказались скромными, без военных и штатских друзей. С юнкерами не хотелось встречаться: они так и не поняли, почему друг выбрал службу в Варшаве, западном форпосте империи, ставшей во время Японской войны глубоким тылом. Не пригласил и друзей-эсдеков – они тоже не понимали, что потянуло товарища-либерала в Варшаву, где непременно придется подавлять поляков вооруженной силой.

Провожала только мать. Впервые сказала про письмо от начальника – от Ивана Генриховича.

– Говорит, ты лучший офицер этого выпуска. Достоин гвардии. Жаль, батюшка твой это не прочтет. Все равно, Сашенька, береги себя.

И дала образок Александра Невского.

Александр привычно скучал на ротной молитве. Старался избегать богослужений. Но когда видел в эсдековских брошюрках про религию, про Церковь – торопливо пролистывал, представляя, как эти страницы увидела бы мать, как стало бы ей непонятно и больно.

Поэтому образок лежал в чемодане. Молиться Александр не привык, выкинуть – не поднялась бы рука.

Поезд мчался в сырой осенней мгле. В его мерном колесном перестуке было что-то тревожное.

Мария

Мария стояла у окна. Наверное, стояла долго, уже не помнила сколько, с тех пор, как вечерний полумрак уступил темноте и зажглись фонари. Давно пора пойти к маменьке, сообщить о своем решении.

Идти не хотелось. Решение принято. Или не принято. И идти по темной квартире, знакомой с раннего детства, не хочется тоже. Каждый шаг – воспоминание и боль. Сначала будет комната Левушки – из нее так и не выветрился запах любимых им кубинских сигар. За ней – Коленьки. Запах его химических опытов, должно быть, выветрился, но, проходя мимо, Мария ощутит все равно.

И небольшой коридорчик-тупичок, ведущий к кабинету папеньки. Он вечно будет пахнуть сердечными каплями.

Может, идти не надо? Может, сейчас пожалует маменька. Подойдет, обнимет. Помолчит у окна, потом скажет, что все сама решила. А Маша согласно кивнет в ответ. Найдет силы улыбнуться, добавить: «Я другому отдана; я буду век ему верна». Конечно же, не кому-то другому – тому, кого маменька хочет видеть ее мужем.

Вот только еще не отдана. Маменька не подойдет, не скажет. Решение останется за Марией.

* * *

Первым громом, первой бедой стало письмо от Левушки. Он окончил Пажецкий корпус, вступил в полк гвардейской кавалерии – подружки Марии по Смольному институту не могли поверить, что корнет на фотокарточке – ее старший брат, ведь она говорила им только о совместных детских проказах. Служба, похожая, по письмам, на бесконечный праздник. Призы на скачках, благодарности от начальства, везение в невинных шалостях и карточных играх. Добродушно посмеивался над напутствием папеньки – избегать карт.

А потом – страшное письмо. «Милые, молитесь за меня. Наверное, меня не отпоют. Папенька, маменька, Кока, Мэри – как я вас любил! Но это – долг чести. Прощайте».

Оказалось, Левушке везло во всем, кроме карт. Проигрался, отыгрался, проигрался, еще раз проигрался. Слукавил, сказав, что завтра все возместит, и взял из полковой кассы. Проигрался в пух и прах. Послал письмо и зарядил пистолет...

Левушку все-таки отпели: полковой врач придумал сложное объяснение из латинских и немецких слов, чтобы случившееся не выглядело помешательством, а лишь неосторожностью с оружием. О письме не знали ни врач, ни священник. Маменька просто плакала, Мария молилась на коленях.

По городу ходили дурные слухи. Кока даже хотел с кем-то драться на дуэли, но папенька посоветовал уехать в научную экспедицию, подальше от страшного соблазна. Кока уехал, но не в экспедицию, а на Бурскую войну, стрелять в захватчиков-англичан. Уехал и пропал. Русские добровольцы меняли фамилии, но под какой сражался Кока в степях Трансвааля, было неведомо.

Однажды в их квартиру у Фонарного моста пришли двое визитеров. Мария так и не поняла, то ли полковые товарищи Левушки, переодетые по этому случаю в штатское, то ли их представители. Были вежливы, мялись в прихожей, прошли в кабинет к папеньке. Вышли с повеселевшими лицами, а папенька был бесстрастен.

Оказалось, Левушку похоронили, а долги – остались. И были они очень большими. «Придется заложить Староселье, – буднично сказал папенька, – ничего, выкупим». Маменька только охнула.

Потом пришел большой конверт с марками на разных языках. В нем – беззаботные путевые заметки Коки, его дневник. В конце, сбивчивым почерком: «Я должен выздороветь ради ма...» Писал Кока карандашом, он сломался, починить сил не хватило.

Другое письмо на английском с трудом перевела Мария. Неизвестный британский майор уведомлял, что русский волонтер Ник попал в плен, уже будучи больным тропической лихорадкой, и ничего сделать не удалось.

Мария переводила про себя. Самое трудное было сказать папеньке и маменьке, что случилось с Кокой-Николенькой.

Маменька рыдала, папенька не издал ни звука. С тех пор из его кабинета все чаще пахло сердечными каплями. Однажды они не помогли.

* * *

К тому времени Мария уже вышла из Смольного. Как жить дальше, не знала ни она, ни маменька. После института подружки посещают балы, театры, вращаются в высшем свете – ищут женихов. Но какие балы и театры, когда траур?

Была еще одна причина. Папенька пару раз намекал, что приданое у дочери будет не очень большим, но достойным. Однако маменька, несмотря на горе, пустила деньги в оборот, чтобы не потерять Староселье. Пустила неудачно.

А два месяца назад Мария оказалась в театре. Привела ее туда Софочка, маменькина подружка-щебетунья, неунывающая вдова, обладавшая искусством всегда добиться своего. Примчалась с известием, что пропадает арендованная ложа в Мариинке, что одной ей там сидеть невмоготу, поэтому она просто умоляет...

Мария так и не поняла, почему гостя не нашла других компаньонов. Только печально пошутила: «Может, кто-то написал оперу по пьесе „Бесприданница“ и сегодня ее дают?» Софочка заругалась, засмеялась, сказала, что дают «Дона Карлоса».

«Буду плакать над Левушкой и Кокой, а подумают, что плачу над судьбой несчастной испанской королевы Елизаветы», – подумала Мария.

* * *

Театр оглушал и слепил – Мария отвыкла от ярких ламп и громких разговоров. Ей хотелось как можно скорее добраться до ложи, прищурить веки и только слышать музыку. Но Софочка была неугомонна. Она два раза обошла фойе, здоровалась, комментировала столичные новости. Рассказала о главном событии столицы – оппозиционных банкетах. Даже маменька заинтересовалась, что же это такое?

– А это придумали земские деятели: Милюков, Богучаров, Струве, – ответила всезнайка Софочка. – Правительство сперва созвало земское совещание, потом его отменило. Тогда земские деятели стали снимать банкетные залы в ресторанах – это ведь не запретишь. И поднимать бокалы за свободу, за парламент. В театре тоже бывают демонстрации. Конечно, без красного флага, но когда начнется дуэт принца и маркиза де Позы, тогда сама услышишь нашу оппозицию, – засмеялась Софочка над собственным каламбуром.

Действительно, в конце третьего действия раздалось:

*Vivremo insieme, e morremo insieme!
Grado estremo sarà: libertà!*¹

¹ Мы вместе живем, мы вместе умрем, Свобода нам будет наградой! (ит.)

Зал взорвался аплодисментами. Ревела галерка, но слышались выкрики и в партере. Отзывались даже в некоторых ложах.

Марии стало интересно: кто же так громко приветствует свободу? Она долго разглядывала шумящих зрителей и вдруг услышала восхищенный шепот Софочки:

– Душенька, тебя усердно и бесстыдно лорнируют! Это же князь Горчаков!

Мария осторожно пригляделась. Незнакомец в генеральском мундире, лет сорока, если не старше. Высокий, как жердь, с пролысиной, напоминал парадный портрет императора Александра I. Встретился взглядом с Марией, убрал лорнет от глаза. Но только после секундной паузы и еле заметного кивка.

Маменька решила уйти до занавеса. На лестнице их ждал лакей, передавший огромную корзину с цветами. Если бы не Софочка, удалось бы отбиться, а так – пришлось взять. Открытка в корзине сообщала, что цветы предназначались Елизавете на сцене. Но настоящая королева этого вечера была в ложе второго яруса.

* * *

А через два дня в гости пожаловал Горчаков-старший, старец, старавшийся не замечать своей подагры. Маменька хотела отослать Марию, но гость настоял, чтобы дочь присутствовала при разговоре.

Горчаков-старший был вежлив и краток. Сказал, что Андрей влюблен в Марию. А он, отец, не сомневается, что Мария составит счастье его сына. Андрей горевал пять лет по умершей Анастасии. Этот брак, как уточнил Горчаков-старший, был бездетным, поэтому невесте не придется стать мачехой.

– Чтобы вы лучше поняли характер сына, сообщу одну подробность. Андрей искренне горевал эти пять лет. Искал утешения в вине, картах (мама и дочка вздрогнули), изъездил Европу, побывал за океаном. Но, – в уверенном голосе гостя мелькнуло секундное смущение, – все это время Андрей избегал романов. Он говорил мне, что не намерен оставаться вечным вдовцом, что наш род должен быть продолжен. Но только новая жена станет настоящей избранницей его сердца. И он ее нашел.

Маменька смутилась. Мария спокойно глядела на гостя. А тот еще раз извинился за простоту, близкую к бесцеремонности и бестактности. Конечно, добавил он, лучше были бы письма, визиты дальних родственников, все положенные ритуалы аристократического сватовства. Но есть достоверные сведения, что Андрей в ближайшее время будет назначен орловским губернатором. Поэтому думать слишком долго нежелательно.

Горчаков-старший столь же открыто сказал, что в курсе финансовых затруднений семейства Никулиных.

– Не смущайтесь, но мне известно, что Мария – бесприданница. Ее приданым станет красота и характер. Что же касается вашего поместья, то...

Гость сделал эффектную паузу.

– Оно выкуплено и теперь снова ваше. Вы поняли, как наша семья заинтересована в том, чтобы Мария составила счастье Андрея?

После чего откланялся и удалился. Маменька и Мария проводили его, потом взглянули друг на друга.

– Машенька, – тихо сказала мать, – это судьба.

– Я... Я подумаю, – растерянно ответила дочь.

* * *

Любовь в жизни Марии уже была – в шесть лет. Семилетний сын управляющего в Староселье оставлял на подоконнике букеты полевых цветов, ловил для нее жаворонков и овсянок – Маша выпускала. Клялся на Рождество поймать раков в проруби, если Маша пообещает его поцеловать. К сожалению, управляющего за что-то рассчитали до Рождества, и он уехал с семьей.

Больше мальчиков и мужчин в жизни Маши не было, не считая героев прочитанных книг. Да, еще однажды в Смольном танцевали с юнкерами. Готовилась к первому балу, как Наташа Ростова, но была разочарована. Первый образцовый юнкер, Ванечка, с тонким, благородным лицом, верно, перенервничал перед балом и укрепил себя стаканом. Икнул несколько раз.

Второй юнкер, Аркаша, водкой не злоупотребил. Просто напоминал милого, доброго щенка, которого хочется взять на руки, тискать и щупать. И танцевал, как добрый щенок-ува-лень на задних лапах. Не верилось, что через год он будет командовать настоящими солдатами.

– Ничего странного, – говорила потом лучшая подруга Танечка, – мне объяснила Аглая, а она уже замужем, что барышне всегда надо стараться выйти за мужчину, который ее старше. Хотя бы лет на пять. А этим мальчишечкам еще подрасти надо.

И объяснила, как мальчики становятся мужчинами.

Мария понимала – так оно и есть. Вспоминала другую Татьяну – Ларину, отданную за старого генерала. Вероятно, во времена Пушкина генерал в 38 лет как раз и считался стариком. Только Мария еще не успела разочароваться в любви, как Татьяна.

Понимала и маменьку. Та вбила в голову, что в свое время не отговорила Левоньку от карт, а Николеньку – от поездки в страшную Африку. Если же убедит дочь поступить правильно, тогда сердце ее будет спокойно.

Оставалось успокоить собственное сердце.

* * *

Маменька почти все время проводила в будуаре, кухарка и экономка Глаша – дремала. Однажды Мария вышла из дома ясным осенним вечером. Догуляла по набережной Екатерининского канала до Никольского собора.

Встала перед Богородицей. Вспоминала все молитвы – как, оказалось, мало знала. Тихо повторяла: «помоги, наставь, помоги, наставь».

– Беда с тобой, дочка? – услышала тихий голос. Обернулась к батюшке. Попросила благословить. И вдруг, не сдерживая слез, рассказала про то, что с ней происходит.

Батюшка слушал молча. Молчал и когда Мария договорила. «Поступлю по его словам», – решила она.

«Нет, – в душе внезапно возник маленький злой спорщик, – нет! Скажет: почитай родителей, тогда поступлю наоборот! Буду жить своим умом, своей волей!»

– Дочка, ты взвесить должна, – наконец сказал священник. – Ты скажешь матери «нет» – ее огорчишь и сама будешь от этого в печали. Пойдешь замуж – сама опечалишься. Должна понять, какая ноша для тебя тяжелее. Подумай, взвесь. И скажи про твою вторую печаль? Вижу, есть.

Мария коротко рассказала про Левушку.

– Так его отпели, в ограде погребли? – спросил батюшка. – А твое сердце все равно в беспокойстве.

«Сейчас скажет, чтобы не беспокоилась».

– А его и успокаивать не надо, – продолжил священник. – Молись за него каждый вечер. Как ощутишь, надо молиться, тогда ты и молись. И про первую ношу подумай.

* * *

Мария стояла у окна. Отошла на шаг. Встала на колени. Помолилась. Поднялась и решительно направилась по коридору. Мимо запаха табака и сердечных капель. И сейчас ей казалось, будто квартира жива, как прежде. За той дверью Левушка, за той Николенька, справа, дальше – папенька. Они рядом, они живы, только сейчас их лучше не тревожить.

Дошла до комнаты маменьки, постучалась.

– Я согласна, – сказала она.

Иногда иноземцу удается с необычайной точностью выразить то, что не под силу уроженцу страны. Немец Бурхард Кристоф Миних, служивший России от Петра I до Екатерины II, однажды сказал так:

«Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует».

Иностранцам свойственен поверхностный взгляд, но Миних знал, что говорил. Это был профессионал высочайшего уровня. Под его начальством прорыт Ладожский канал. Под его командованием русская армия впервые прорвалась в Крым через Перекоп и разгромила Крымское ханство, взяла крепость Очаков, победила турок в большой полевой битве (Ставучаны). Миниха можно упрекнуть во властолюбии, интригах, жестоком отношении к подчиненным. При этом он прекрасно знал структуру российского государства, механизмы принятия решения, а главное – их выполнения. Он не доказывал, он говорил, что видел своими глазами и осознавал разумом – Россия управляется Господом. А значит, попытки всего мира и даже жителей нашей страны уничтожить это государство обречены на неудачу.

Существование России невозможно объяснить рациональными экономическими или политическими соображениями. Век за веком страна выживала в неурядицах и вражеских нашествиях, в тяжелых климатических условиях, когда снег может выпасть в июне и погубить урожай. Ее правители – великие князья, цари, императоры – часто совершали роковые ошибки, а подданные – бунтовали. Не раз страна оказывалась на грани гибели. Под конец Смутного времени пограничные кочевые орды перестали приходить на Русскую землю – для них не осталось добычи. Как бы ни был велик патриотизм лучших наших соотечественников, им снова и снова приходилось встречаться с трудностями превыше человеческих сил.

И все же Россия выжила.

Все православные народы и государства, в том числе вековая хранительница православия – Византия, подпали под иноверную власть. Только Россия сохранила независимость – самодержавие. Призванием нашей огромной страны было напоминать всему миру о Законе Божиим, Господних Заповедях, защищать истинную веру и Православную Церковь.

В самом начале XX века Российская империя была сильна и мощна, как никогда прежде. Она занимала самую большую территорию в мире, имела огромную армию, управлялась по своим законам. Но главной силой страны казалась не армия, не золотой рубль, а доверие народа Государю – Помазаннику Божию.

Эта близость особенно наглядно проявилась летом 1903 года, в дни канонизации Серафима Саровского. Тогда в Дивеево со всей России собрались триста тысяч богомольцев. Когда в потемках Государь и Великие князья вынесли на плечах мощи Преподобного, триста тысяч человек, в первую очередь крестьян, молились на коленях, с зажженными свечами в руках и пели пасхальные каноны.

Так сбылось пророчество отца Серафима о том, что однажды среди лета запоют Пасху, а народа вокруг будет больше, чем колосьев на огромном пшеничном поле возле Дивеево.

В такие светлые минуты, когда казалось, что поют земля и небо, трудно было вспомнить другие, страшные пророчества святого:

Эта радость будет на самое короткое время, что далее, матушка, будет... такая скорбь, чего от начала мира не было!

Будет это непременно: Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на верх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля Русская обгадится реками крови, и много дворян побито будет за великого государя и целостность самодержавия его; но не до конца прогневается Господь и не попустит до конца разрушиться земле Русской, потому что в ней одной преимущественно охраняются еще Православие и остатки благочестия христианского.

До рождения Антихриста произойдут великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее... Бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церковей Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе...

Часть вторая

Лето и осень 1905 года

Год начался с Кровавого воскресенья. Харизматик и демагог священник Гапон стал инициатором общегородской забастовки и массового шествия в центр Санкт-Петербурга, к царскому дворцу. Рабочие были обмануты: революционные агитаторы изменили текст «верноподданной» петиции, добавив к экономическим просьбам заведомо невыполнимые требования политической реформы. Власти не смогли остановить шествие без применения вооруженной силы, погибло почти полтора человека.

Россия, утомленная Японской войной, была шокирована небывалым кровопролитием в столице. Начались забастовки, волнения в деревне, военные бунты и восстания на окраинах. Либеральная общественность восторженно приветствовала и убийства офицеров на броненосце «Потемкин», и сожжения усадеб, и нападения польских националистов на русские гарнизоны.

Николай II надеялся успокоить страну созданием Государственной думы, законодательно-совещательного органа. Витте, подписавший с Японией Портсмутский мир, неприятный, но выгодный для России, мечтал о славе премьера-диктатора, проводника реформ. Он постоянно требовал у царя отдать власть ему.

Осенью началась общероссийская забастовка, парализовавшая крупные города. В ней участвовали железнодорожники, телеграфисты, типографы, аптекари – образованный средний класс, веривший самым простым и радикальным лозунгам. Руководители процесса – лидеры эсеров и эсдеков – оставались за кулисами. Чтобы успокоить общественность, Государь подписал в октябре Манифест о гражданских свободах.

К этому времени началась встречная народная контрреволюционная волна. Крестьяне и мещане нападали на забастовщиков, разрушавших экономику. И в Твери, и в Томске, и в Вологде врагов революции из простонародья оказалось больше, чем защитников. В западных губерниях начались еврейские погромы. Уже скоро солдатам пришлось не столько подавлять революцию, сколько защищать от погромщиков мирных жителей. Знаменитое «московское восстание» в декабре 1905 года состояло в том, что несколько тысяч боевиков стреляло в полицию и военных из-за угла, и прекратилось, когда из столицы прибыл Семеновский полк.

К концу 1905 года революция фактически была подавлена. Но недолгая смута стала страшным искушением для общественности. Она запомнила, что поражение в войне с внешним врагом приводит к внутренним реформам.

Вера

Год назад Веру в Санкт-Петербург провожала мама. Теперь на Николаевском вокзале ее провожали товарищи из Боевой организации.

Поначалу в Питере было все как и ожидалось. Легко нашла тетю Мэри, выслушала ее всхлипывающее удивление: как же маменька отпустила? Поселилась в уютной комнатухе, с окнами на шумную Гороховую улицу. Сходила с тетушкой на Бестужевские курсы – подтвердить, что живет у родственницы, а не на съемной квартире, что курсисткам запрещено.

Хотя приехала после начала курсов, легкий экзамен приняли и допустили к занятиям. Времени хватало и на учебу, и на знакомство с огромным городом, о котором столько читала у Гоголя и Достоевского.

Верочка побывала на Волковом кладбище, посетила могилы Белинского и Некрасова. Сходила на Семеновский плац, прогулялась возле ипподрома, оставила цветы там, где, по ее предположению, были повешены цареубийцы-первомартовцы. Несколько раз с набережной глядела на Петропавловскую крепость – страшную царскую тюрьму. Всплакнула по узникам.

И, конечно же, прогулялась по Невскому, посмотреть на храмы и дворцы. С удивлением глядела на Зимний – не думала, что к царскому жилищу можно подойти так близко. Наняла извозчика, съездила на Елагин остров полюбоваться ранним осенним закатом на Стрелке. Впервые увидела паруса – ведь рядом Императорский яхт-клуб, захотела побывать в море.

Могла бы и побывать, если бы отправилась в Кронштадт, на службу отца Иоанна, как собиралась. Но узнала у Натальи, подружки по курсам, что отец Иоанн жесточайше отзывался о Льве Толстом.

– «На Святой Руси родился, вырос и стал мудрецом и писателем один граф, по фамилии всем известный, новый книжник и фарисей, – читала вслух Наталья дрожащим голосом. Находила в газете самые возмущавшие ее слова и читала, слегка кривляясь, думая, что пародирует отца Иоанна. – Возгордился своим умением писать о светских делах и суетах и задумал испытать себя в писательстве о Божеских делах, в которых ничего не видит и не понимает, как сущий слепец, и написал столько нелепого и безумного, что раньше его никому и в голову не приходила такая нелепость... Утаил, совершенно утаил Господь Свою Божественную премудрость от этого безумца, гордого и предерзкого человека... Бог поругаем не бывает, и этот еретик новый до дна выпьет сам чашу яда, которую он приготовил себе и другим».

Как неожиданно и грустно! Федя ничего такого ей не говорил. Кстати, он сам критиковал Толстого за то, что тот призывает к простоте и смирению. Но называть этого писателя, так много сделавшего для просвещения голодающего народа, «фарисеем, безумцем, еретиком»? Наверное, после таких вот проповедей Льва Толстого и отлучили от Церкви.

А еще Верочка не могла забыть, как встречал ее Лев Николаевич в Ясной Поляне, как седовласый старец беседовал с ней, девчонкой, какое письмо написал маменьке. И он должен «выпить чашу яда»?

Поэтому в Кронштадт Вера не поехала.

* * *

А потом случилось 9 января. Верочка металась по Невскому, со страхом слушая выстрелы и военные трубы. С ненавистью глядела на офицеров, по которым еще вчера скользила равнодушным взглядом. К вечеру с такой же ненавистью глядела и на солдат. Люди в мундирах стали для нее убийцами, все на одно лицо.

Как же был прав Федя! Почему всех военных не отправили в Маньчжурию, чтобы их там убили японцы?!

Наталья через три дня покинула столицу – испуганная мать увезла дочь в Тулу. Но успела познакомить Веру со своими друзьями из эсеровского кружка.

Уже скоро Верочке было совсем не до занятий. Она набирала на ремингтоне статьи для подпольной газеты. Читала сообщения о забастовках и демонстрациях в Риге, Минске, других городах, о начале крестьянских волнений – разгроме поместий, в том числе и в родной Орловской губернии. Читала о том, как эти волнения подавляются, плакала от возмущения.

Несколько раз разбрасывала листовки – в Невском пассаже, в театрах. Думала: ее сразу схватят. Но, видно, не зря в раннем детстве играла с мальчишками в салочки – каждый раз убегала. И говорила товарищам: я не просто спасаюсь, я берегу себя для большого дела!

Товарищи слышали. Однажды Верочку отвели на встречу с Иваном Николаевичем, человеком, организовавшим большинство казней реакционных деятелей, в том числе Плеве, Великого князя Сергея Александровича.

Как объяснил товарищ-проводник, важный человек ежедневно менял квартиры или гостиничные номера. В очередном номере была полутьма, но Вера все равно разглядела Ивана Николаевича. Удивилась, огорчилась даже. Была уверена: он худой, с изможденным лицом, горящим взглядом. Или седобород, как Лев Толстой. Но Иван Николаевич был плотным, даже тучным человеком, с короткими усиками и маслянистым взглядом – будто коммивояжер, гулявший по Невскому. Зато говорил кратко и точно, без украшательств. Задал Вере вопросы, она ответила на каждый. Собеседник не сказал «да», только кивнул.

Через три дня Верочка вошла в поезд, который следовал в Орел. У нее был тот же саквояж, что и в прошлый раз. Но вместо пирожков, выпеченных маменькой, в саквояже лежала бомба.

Александр

*Эй ты, буйная Варшава,
На тебя пришла расправа! —*

весело, задорно дерзко выводил тенор-запевала.

*Рой, рой, ритмомтой,
На тебя пришла расправа! —*

грозно подпевала рота, чеканя шаг.

*Надо ль было бунтовать,
С царем русским воевать?
Рой, рой, ритмомтой,
С царем русским воевать?*

Александр было тоскливо до боли. Ему не нравилась эта старинная песня про Польское восстание 1831 года. Не нравилось удалое хвастовство: «В Польше русский господин: бьет поляков, пять – один». Был противен надоедливый повтор бессмыслицы: «Рой, рой, ритмомтой!»

Но его рота так усердно, так весело выводила песню, что язык сам дергался во рту и Александр десять раз замечал и ругал себя, что непроизвольно подпевает.

Да и «ритмомтой» – полная бессмыслица лишь для штатских, ничего не понимающих в армии. Эти облегченные барабанные звуки – вроде «ратоплана» в старинных немецких солдатских песнях: задавать ритм, чтобы было проще держать строй. Бурлацкие песни, как и шанты моряков, тоже бессмысленны: бурлакам и морякам песни нужны, чтобы ровно идти или вытягивать канат.

*Вы и в школе не учились,
Бунтовать глупцы пустились!
Рой, рой, ритмомтой,
Бунтовать глупцы пустились!*

Правда, на этот раз бунтовала не Варшава, а Лодзь. В городе уже второй день шли баррикадные бои. Полк, поднятый по тревоге, маршировал на товарную станцию, чтобы погрузиться в поезд.

* * *

Варшавский гарнизон удивил Александра. Он читал недавно вышедшую повесть Куприна «Поединок», но и без книги своего тезки слышал, что в провинциальных войсках царит скука и пьянство, а грубые унтера беспощадно мордуют туповатых новобранцев.

Возможно, в какой-нибудь провинции так и было, но русские полки, стоявшие в Варшаве, выглядели совсем иначе. Сокольской гимнастикой занимались и офицеры, и унтеры, и нижние чины – у каждой казармы турники и гири. Пицца – простая, но здоровая и обильная: пицца, каша со шкварками. Большинство солдат были грамотны, читали книги и газеты. Чистота

была во всем, от казарменного плаца до умытых лиц, и чувствовалось, это не только потому, что начальство требует, но каждый понимает: так надо.

Александр не раз ловил себя на мысли, что такого братства, такого товарищества он не ощущал даже в юнкерском училище.

Причиной этого был враждебный мир вокруг казарм. Офицерам не советовали гулять в одиночку. Из-за Японской войны объявили мобилизацию, шла она туго, а когда полиция арестовывала призывников, начинались волнения.

Петербургские друзья-эсдеки прислали ему пару адресов варшавских товарищей. Но, видимо, это были уже проваленные конспиративные явки: по адресам данные господа не проживали. А может, не стали доверять незнакомому русскому офицеру.

Когда Александр возвращался со второй неудачной встречи, уже затемно, в него попал камень. Кто-то швырнул из темного переулка, скрылся. Фуражка смягчила удар, сотрясения не было. Но фуражка слетела, и пока Александр искал в темноте, выпачкал руки.

«Нас ненавидят, это правда, – думал он, счищая грязь с козырька и пальцев, – но ведь не просто так. Я один из угнетателей Польши, причем двойной угнетатель: угнетаю и нацию, и трудовой народ. Кто-то увидел офицера-угнетателя и бросил камень».

Однако когда Александр разогнулся и выпрямился, ему стало противно. Он сам никогда не бросил бы камень в идущего прохожего. Вспомнил, как его друзья по училищу оправдывали право полиции бить при разгоне демонстрации всех, кто оказался рядом: случайных прохожих быть не может. А он с ними спорил. Тогда как же он может оправдать того, кто напал на незнакомое человека только за то, что тот в офицерской форме? Почему в одном случае оправдать несправедливость нельзя, а в другом – можно?!

Позже говорил об этом с одним из друзей, поручиком Чижовым, служившим в Польше уже два года. Говорили в ресторане, всегда полном русских офицеров. Чижов сразу объяснил другу, что в одни варшавские заведения можно ходить хоть в одиночку, а в другие желательно компанией.

– А очень просто, – усмехнулся Чижов. – Ты, брат Сашка, только в Польше встретишь либерала-патриота: поляка в пиджаке, а русского – в военном мундире. Такой вот парадокс.

Александр тогда оставалось только печально усмехнуться в ответ. А сегодня он ехал на первую битву в своей жизни.

Из статьи газеты «Новое время», 1905 год:

Варшава теперь производит самое странное впечатление. На всех перекрестках стоят солдаты по двое; стоят они плотно, прижавшись спиной к стене, иные даже совсем в углах, и держат ружья на изготовке. Ежедневно на дежурстве стоит 9.000 нижних чинов в три смены, по три тысячи каждая. Полиция страшно растеряна, городские на перекрестках стоят с испуганными глазами; видно, что человек ежеминутно ждет нападения.

Недавно напали среди белого дня на артиллериста-солдата пять человек с браунингами. Солдат не растерялся и умудрился отобрать браунинги, после чего всю компанию самолично повел в полицию. Этот случай так сильно повлиял на революционеров, что после этого целых три дня не было нападений в Варшаве, но затем опять началась стрельба.

...

Сама обстановка приучает солдат постоянно чувствовать себя во враждебной стороне. Здесь объявлена война уже не русскому правительству, а русскому народу, завоевавшему этот край кровью своих сынов...

Мария

Между обручением и свадьбой не прошло и месяца. Между свадьбой и отъездом в Орел не прошло и недели.

Мария увезла с собой букет мелких тревог. Почти все они не оправдались. Например, немного опасалась провинциальной скуки. Скуки не было и в помине. Орел оказался достаточно крупным городом, правда, как говорили старожилы, разросшимся за последние годы. Каменные дома, электричество, театр, местное светское общество, с интересом встретившее нового губернатора и губернаторшу. Надо было со всеми познакомиться, всех запомнить.

Дополнительной заботой стала продолжавшаяся война. Раненых в город не привозили, но надо было провожать мобилизованных солдат, или, как их по-старому называли – рекрутов. В одной из местных газет Мария прочитала такие резоны: мобилизация вырывает работника из хозяйства, если нет других мужских рук, оно может разориться. Согласилась с доводами, предложила провести благотворительный аукцион для разовой помощи нуждавшимся семьям. Не всем эта идея пришлась по вкусу: непросто определить, кто нуждается, да и соседи могут позавидовать. Но Мария была настойчива, чем даже удивила мужа. Ей подсказали: если земский учитель и сельский священник считают бедной одну и ту же семью, значит, так и есть.

С мужем было легче, чем думала она и шепотом предупреждали подруги на прощальном девичнике в кондитерской. Вспыхнувшая влюбленность Андрея превратилась в теплую любовь. Она видела – муж боготворит ее по-прежнему, хотя и считает немного ребенком. Но ради нее подавляет цинизм и грубые холостяцкие привычки. А иногда – слушается.

Однажды спяну захотел испытать полудикого калмыцкого коня, подаренного предводителем дворянства. Андрей был хорошим лошадиником, но в этот вечер явно злоупотребил шампанским.

Марии хотелось пуститься в крик, заплакать. Или показать на свой живот и кокетливо добавить: «Мы этого не хотим».

Мария понимала, это, может, и подействует, но так – нельзя. Поэтому спокойно сказала: «Андрей, не надо». Глаза мужа вспыхнули на миг. Но Мария не успела испугаться, как он кивнул и отложил укрощение коня до утра.

Желание показать на живот было оправданно. Мария стала женщиной в первую брачную ночь и еще до Рождества поняла, что беременна.

Самым пугающим в беременности оказались разговоры ее новых светских подруг. Мария наслушалась таких страстей, что даже разочаровалась – все было так легко, без тошноты, без боли. И очень просто, когда пришел срок. Лучший гинеколог губернии, из земской больницы, на всякий случай приглашенный в губернаторский дворец, сказал, что после таких родов крестьянки сразу идут на поле, вязать снопы. Ей же можно на бал.

Конечно, Мария в тот день на бал не пошла. Но ей не хотелось расставаться с Митенькой. Поэтому она, к легкому удивлению местного бомонда, появлялась с ним на благотворительных вечерах, в губернаторской приемной зале. Конечно, все чинно: младенца несла на руках нянюшка, молодая мать шла рядом. Митя, будто понимавший, что он губернаторский сын, не плакал и с достоинством принимал сюсюканья окружающих.

Если бы можно, Мария, как цыганка или степная княжна, приторачивала бы младенца к седлу и разъезжала с мужем по уездам. А путешествовал он все чаще и чаще. Осенью и зимой привыкал к губернии. Весной и особенно летом появились экстраординарные причины: аграрные волнения.

Губернатор возвращался пыльный и мрачный. Но улыбался, когда видел Митю. Даже если проводил остаток вечера в мужской компании, у ломберного стола, все равно находил полчаса поговорить с женой. Жаловался ей:

– Становые приставы, тридцатилетней службы, такого не помнят. Прежде, если аграрный бунт, просто растаскивают зерно, уводят скотину по дворам. Теперь еще и охотничий кабинет в усадьбе грабят, тащат ружья и порох, в стражу стрелять. Где тот гоголевский капитан-исправник, что только пошлет свой картуз на место происшествия, как порядок сам водворится?

Мария и вздыхала, и смеялась. По-другому помочь мужу она не могла.

Петр

Когда-то дьячок читал по памяти стихотворную сказку про Ивана-дурака, которому помогал Конек-горбунок. Петька запомнил, как Иван устроился конюшим в царском дворце: ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только.

Петька не сомневался: он устроился еще лучше. Кормили сытно, вставать полагалось позже, чем в трактире и у дьячка. За конями ходить не надо, никто ему не завидует, как Ивану, не строит козни. В училище Эдельберга надо было только рисовать.

В первую ночь Петька ночевал в дворницкой. На следующий день ему нашлось место в общежитии. Добрый господин был одним из благотворителей, не только дававшим деньги на обучение талантливых подростков, но и находившим ребят и рекомендовавшим их. Рекомендации обычно не оспаривались.

Занятия в училище Эдельберга шли каждый день, кроме воскресенья. Ученики рисовали и в классах, и после – в их комнатах были и столы, и мольберты. Краски Петька освоил так же быстро, как и карандаш.

Почти все ученики оказались старше Петьки. Поначалу думал, будут помыкать, как в лавке или в трактире обижают мальцов. Но ребята лишь посмеивались над Петькой, над его рассказами о деревенской жизни, а по-иному не обижали. Петька на шутки не злился.

Иногда спрашивали Петьку, где он учился рисовать. Петька рассказывал про дьячка. Почему-то ребята были уверены, что дьячок бил своего ученика смертным боем, и очень удивлялись, слыша, что такого не случалось.

– Верно, дьячок малахольный. Боялся, ты сдачи дашь, – посмеивался Федька, добродушный увалень и великан. Внимательно глядел на щуплого Петьку и добавлял: – Совсем малахольный дьячок, свечку поднимет – грыжа.

Петьке хотелось возразить, что все не так, что дьячок Тимофей, будь он вдвое выше Федьки, все равно бы никого не бил. Но понимал: когда товарищи шутят, нужно смеяться вместе с ними, а не спорить. Иначе будут смеяться над тобой.

Поэтому смеялся вместе со всеми.

Еще однажды пытался рассказать, как поновляли образа в храме. О том, как не ел с вечера перед работой, как подходил со страхом к ликам, как боялся прикоснуться кистью к Фаворскому свету.

Но друзья и тут не поняли. Назвали дьячка хитрым экономом: мол, не хотел еду на воспитанника тратить. Когда же Петьку спросили, сколько ему заплатил дьячок за поновление образов, назвали «эксплуататором».

Петька в очередной раз спорить не стал. Не спросил и кто такой эксплуататор. Про борьбу с самодержавием и эксплуатацией в эти дни говорили даже на занятиях, и учителя не мешали разговорам.

* * *

Чаще других про сельскую жизнь спрашивал Оська, хороший портретист, на год старше Петьки. Он деревни никогда не видел, мог нарисовать соломенную скирду и назвать ее «стогом сена».

Однажды Оська здорово выручил. Осенним вечером он и Петька пошли в лавку за колбасными обрезками и зачерствевшими, уцененными калачами. Обычно такая прогулка – сгонять не заметить, но в те дни найти открытую лавку оказалось непросто. Окна лавок закрыты ставнями, некоторые фонари разбиты. Доносились крики, а однажды – пара резких звуков, словно хлопанье кнута.

Оська пояснил, что это выстрелы. Добавил:

– Охотный ряд студентов бьет.

– Почему? – удивился Петька, уже знавший, что он по своему статусу тоже студент.

– По морде. Студенты бастуют, да и вообще все бастуют, кому свобода дорога. Так как забастовка всеобщая, не должно быть ни транспорта, ни торговли. Поэтому, если кто-то бастовать сам не хочет – машинист или ломовик, – заставляют. Железные дороги встали, бойни закрылись, подвоза в Охотный ряд нет. Вот эта черная сотня и думает, будто во всем студенты виноваты.

Петька никогда с Оськой не спорил – переспорит, пересмеет, сам себя дураком ощутишь. Все же хотел возразить: если и правда студенты не дают перекупщикам привозить товары в город, может, они и вправду виноваты? Да и крестьянам, у которых закупают скотину и хлеб для города, тоже нелегко. Они, когда весной сеяли, не думали, что кто-то будет осенью бастовать и запретит им доставить товар в город.

Но возразить не успел. Из-за угла выкатились трое молодцев, слегка навеселе. На беду, рядом как раз был неразбитый фонарь, поэтому они разглядели одинаковые шинельки Оськи и Петьки.

– Скубенты? – грозно спросил один.

Петька замер, не зная, как быть. Его язык был не способен ни соврать, ни сказать правду. Только в голове будто само собой твердилось: «Господи, помилуй!»

– Скубенты, да не те, – бодро и громко ответил Оська. – Мы в иконном училище учимся, богомазы.

– Перекрестись, – неуверенно потребовал парень.

– Это каждый жид может, – так же бодро ответил Оська, – погляди лучше, все руки в краске.

Показал свою ладонь, потом взял чуть одеревеневшую Петькину руку, закапанную краской еще больше.

Парни ушли. Петька дрожал, Оська хохотал, приговаривая «богомазлы-шлимазлы».

На другой день в училище, под впечатлением от инцидента, Оська предложил сообща сочинить и нарисовать житие Святого Охотнорядца. Друзья не раз видели рассказы в картинках, настолько понятных, что и текст не нужен. Житие состояло в том, что один охотнорядский мясник отличался уникальной жирностью. Поэтому, когда московские бойни закрылись, братцы-охотнорядцы посоветовались да и решили его убить, засолить, закоптить и продать как ветчину. А что не удастся сбыть – объявить святыми мощами и отнести в церковь.

Пока обсуждали – Петька жался в угол. Ему не нравилась вся эта идея. Шептал: «Зачем, зачем? Вчера ведь обошлось, Господь беду отвел. Благодарить надо, а не вот так...» Прятаться было нетрудно: сочинители обходились без него.

Впрочем, некоторое время спустя обратились за советом.

– Пьеро, – спросил Оська, – когда свинью колют, ее так подвешивают, как я нарисовал?

Петька пригляделся. Против воли усмехнулся – уж больно забавно были изображены охотнорядцы. Объяснил, что нарисовано неправильно, показал, как свинью крючком поддевают.

Друзья посмеялись и тут же провозгласили Петьку «Профессором деталей крестьянского быта». Облачили в мантию, сделанную из сорванной занавески.

Петька радовался, что наконец-то стал своим среди будущих художников. Сказать, что назвать рисунок можно было не «житие», а как-то иначе, – не решился.

Из книги Василия Шульгина «Дни»:

Мне показалось, что он искренен, этот старик.

– А отчего вы сами, евреи, – старики, не удержите их?

Он вскочил от этих слов.

– Ваше благородие! И что же мы можем сделать? Вы знаете, это чистое несчастье. Приходят ко мне в дом... Они говорят – «самооборона». И мы даем на самооборона. Так вы знаете, ваше благородие, что они сделали, эти сволочи, на Димиевке? Бомбы так бросать они могут. Это они таки умеют, да... А когда пришел погром до нас, так что эта самооборона? Штрелили эти паршивые мальчишки, истрелили и убегли... Всех их, сволочей паршивых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие.

С тех пор когда меня спрашивают: «Кого вы считаете наибольшим черносотенцем в России?» – я всегда вспоминаю этого еврея...

Павел

Павел меньше всего ожидал, что в ту ночь заснет таким же крепким сном, как отец. Может, не настолько же крепким: снотворного все же не пил.

Все оказалось просто и прошло без осечек. Капли по рецепту врача он купил тоже, передал сиделке. А та попросилась ненадолго отойти, выпить чаю.

– Конечно, идите, – улыбнулся Павел. – Олимпиада подежурит за вас.

– Благодарствую, – сказала сиделка, – только вот... Как бы...

– Как бы не дала Ивану Павловичу волшебную траву-исцелиху, цветущую только в дни греческих календ, – договорил Павел и увидел понимающую улыбку образованной сиделки. – Не волнуйтесь, наша Лимпиада Лексанна подробно проинструктирована и принесет нашему больному только аптечные снадобья.

Второе аптечное снадобье уже было в руках доброй старушки и влито в теплый клюквенный кисель. Едва сиделка удалилась, она поспешила к больному.

А Павел? Пошел в кабинет, полистал «Научное обозрение», покурил и легко заснул.

Так и не понял, отчего проснулся, от стука в дверь или общего переполоха. Тот, кто стукнул в дверь, уже убежал.

Оделся, вышел поживаясь, несмело пошел к отцовской спальне. Там было шумно: доктор громко отчитывал сиделку, Петр Степанович что-то кричал доктору, в углу громко рыдала Олимпиада. Тише всех был Иван Павлович – половина лица накрыта платком, на глазах две серебряные монеты.

Павел шагнул к постели отца. Доктор Шторх резко сказал ему, с внезапно прорезавшимся немецким акцентом:

– Не рекомендовать! – И чуть успокоившись: – Хотя он умер во сне, смерть легкой не была. – И простонал: – Ну почему?!

Немного погодя успокоились все, кроме Лимпиады. Она причитала утром, пока не охрипла, но и днем продолжала плакать. Павел боялся подходить к ней: вдруг старуха примется прилюдно бранить его за сонные капли? Но Лимпиада никого не винила, даже себя. Не видела связи между вечерним лекарством и смертью Ивана Павловича. Причитала она по другой причине.

Вечером, когда никого рядом не было, Павел попытался утешить старушку. Сказал: «Батюшка мой хоть и мучился, но недолго. Во сне ушел».

– То-то и плохо, что во сне, без покаяния! – резко ответила старушка. – Как по мне, так пусть меня ножами режут, огнем жгут, лишь бы покаяться перед смертью. А Иван Палыч так и представился с грехами тяжкими...

И заголосила, как утром.

Тем же вечером Павел напился. Но еще до того, как опьянел, поговорил с Петром Степановичем. Подступавший хмель позволил пристально взглядеться в лисьи глаза управляющего.

– Знаю вас как человека честного, – сказал Павел, надеясь, что говорит без усмешки, – но при этом себя не обижающего. Разрешаю вам не обижать себя на две тысячи рублей в месяц дополнительно. Но при условии, что наличные доходы в кассу нашего торгового дома не уменьшатся. Я намереваюсь посвятить себя учебе, однако за доходом проследить сумею всегда.

– Как скажете, Павли... Павел Иванович, – улыбнулся управляющий.

– Это хорошо. А теперь – идите, – сказал Павел, наливая новый стакан.

* * *

Уже на следующий день встретился с Мишей Зиминым. Тот искренне посочувствовал и сказал, что освобожденные деньги должны пойти на освобождение народа. Предложил перечислять на дело революции в три-четыре раза больше, чем прежде. Все же посоветовал резко не отказываться от прежних привычек: посещать рестораны, кутить.

Павел так и сделал. Первое время чуть не перестарался, причем не нарочно. Пил больше, чем привык, и уже не надо было выливать бокал шампанского на модный смокинг и полоскать шампанским рот.

Уже скоро начались такие дела, что покойный отец забылся. В Петербурге, во второе воскресенье нового года, произошли кровавые события, взбунтовалась вся Россия. Чтобы поддержать революционный натиск, полагалось казнить самых активных царских слуг. В Кремле был взорван бомбой Великий князь Сергей Александрович. Павел знал, что операция осуществлена в том числе и на его деньги.

По собственной инициативе Павла на московских кожевенных фабриках отца был установлен девятичасовой рабочий день, а перед праздниками – восьмичасовой. Эсеровскую, социал-демократическую, вообще освободительную литературу выдавали едва ли не вместе с зарплатой. Заодно приказал Петру Степановичу – он уже давно ни с чем не спорил – отдать его «друзьям-химикам» фабричное помещение под лабораторию. «Друзей» было бы правильнее назвать «товарищами», а насчет химии все так и было: лаборатория изготавливала бомбы для предстоящего восстания.

Павел был, пожалуй, единственным эсером, арестованным в кабинете ресторана «Прага». Не сразу понял за что, вспомнил даже Лимпиаду – вдруг пошла в полицию с рассказом о сонных каплях. Но скоро выяснилось, что охранка выследила лабораторию, произвела обыск на фабрике. Дежурные-боевики отстреливались, к ним присоединилось несколько рабочих, решивших, что власти хотят наказать хозяина за любовь к простому народу. Произошло небольшое сражение, запас бомб взорвался, фабрика сгорела.

Услышав, что он арестован не из-за отца, Павел облегченно сказал:

– Я ненавижу самодержавие, как и любой здравомыслящий человек, – презрительный взгляд на полковника. – Но мне, сыну купца первой гильдии и почетного гражданина Москвы, было бы как-то не с руки взрывать самых ничтожных сатрапов.

Полковник вздохнул, Павла увели.

* * *

Тюремные условия оказались пристойными, а главное – они подразумевали беседу с адвокатом в любое время. То, что адвокат фабриканта Павла Никитина является еще и членом партии эсеров, кроме подзащитного, никто не знал.

– Вы нужны делу революции и освобождения России, – сказал адвокат. – Мы не хотим потерять вас, а также доступные вам возможности.

Павел смутился и сказал, что хотя по-прежнему остается владельцем фабрично-торгового дома, с серьезно пониженной капитализацией, но непосредственно распоряжаться доходами пока не имеет права. Его вряд ли оправдают, а пока он в тюрьме, делами будет распоряжаться ближайшая наследница – двоюродная тетка-вдова, которая уже приехала из Петербурга с детьми и намерена по суду вступить в управление домом.

Адвокат предложил Павлу самому передать управление своей тете, а выйдя на свободу – отобрать. Но для того, чтобы тетя вступила в управление без суда и промедления, она должна

согласиться перечислять четверть дохода на определенный счет. Юридические перспективы тетки туманны, поэтому такой вариант должен ее устроить.

Что же касается самого Павла, то один из рабочих во время схватки застрелил полицейского и приговорен к смерти. Он уже согласен дать показания, что Боевая организация принуждала фабриканта под угрозой убийства не замечать лабораторию. Поэтому Павел Никитин виновен лишь в том, что не осведомил полицию.

– Бедняге терять нечего, – добавил адвокат, – пусть сделает полезное дело для партии.

– А что можно сделать для этого рабочего? – с надеждой спросил Павел.

– Мы пообещали ему, что организуем побег в ночь перед исполнением приговора, – сказал адвокат с еле заметной усмешкой.

Павлу на одну секунду стало тоскливо, как в тот давний вечер, когда он ездил в аптеку.

Александр

По пути на вокзал пели песни. В поезде песни смолкли. Офицеры ругали бунтовщиков, а также тех, из-за кого начался бунт, – местную буржуазию.

– Открыли мануфактуры, а нормальные квартиры для пролетарьята строить не стали, – говорил Чижов. – Грюндеры (чемоданные инвесторы) приезжают в Лодзь через германскую границу, фабрику откроют, платят зарплату работникам раза в два меньше, чем у себя. Потом эсдеки в Германии зовут рабочих нарядно одеться и по улице гулять с протестом, а в России – идти на баррикады.

– Навалить бы на Лодзь фабричную инспекцию, проверить фабрикантов, немчиков да еврейчиков, – заметил другой офицер.

– И чинуш, которые им позволяют себе в Германию доход качать, а нам оставляют бунт. Александр слушал и молчал. Спорить было не о чем.

Когда высадились в Лодзи, стало совсем не до песен и споров. В городе шел бой – доносились непрерывная ружейная стрельба. Несколько раз ее заглушили разрывы оружейных гранат.

«Ругаем чинуш, – мысленно проворчал Александр, – а сами не запаслись картами города». По крайней мере, он такую карту не видел.

Если начальство в мыслях поругивал, то противника – не понимал. Повстанцы – дружины эсдеков и польских националистов – напоминали брошенный гарнизон. Нет надежды на победу и на помощь извне. В училище, как поступить в такой ситуации, любой преподаватель, пусть самый заслуженный генерал, сказал бы сразу – сдаваться. Требовать почетной капитуляции, немедленной помощи раненым, личной неприкосновенности. Впрочем, какая личная неприкосновенность при мятеже? А свое командование рядовые повстанцы, возможно, и в глаза не видели.

Потом все посторонние мысли исчезли. Рота Александра получила приказ ускоренно двигаться в сторону Восточной улицы. Но через три квартала натолкнулась на баррикаду. Вестовой помчался к командиру полка требовать артиллерию, рота расположилась на небольшой площади. Противник достраивал баррикаду – груды бочек, разломанных извозчичьих дрожек, бревен и досок. Иногда постреливал из охотничьих ружей и револьверов, но без результатов.

Опаснее оказался стрелок, засевший в мансарде углового дома. У него была винтовка. Патронов захватил с запасом, стрелял три-четыре раза в минуту и время от времени попадал. Двум залегшим рядовым прострелил руки и ноги, тяжело ранил унтера, потом убил рядового. Дойти до дома и обезвредить его значило попасть под огонь с баррикады.

Капитан сновал среди подчиненных, толкал, требовал, чтобы ложились. Внезапно замер, провел рукой по шинели, охнул, сдавленно выругался. Александр подскочил к нему.

– Принимай команду. Жди артиллерию или сам решай, – тихо сказал начальник.

Капитана унесли. Мансарда молчала минуты две. Александр подумал было, что у стрелка закончились патроны, но тот просто радовался удаче. Потом возобновил пальбу. Еще один солдат завертелся на мостовой, хватаясь за простреленный бок. К Александру подошел унтер.

– Вашбродие, дозвольте обратиться, – быстро сказал он, опасливо поглядывая на мансарду. – Двинуть надо, назад или вперед. Нам укрытия нет, а сколько у этого патронов – Богу вестимо.

«Поставили здесь, как начальство поставило полк князя Андрея на Бородинском поле, под вражий огонь», – ворчливо подумал Александр.

И тут же сообразил, что он сейчас сам начальство. И люди стоят под огнем по его воле, а значит, по его вине. Солдатика только что из-за него ранили.

На решение ушло несколько секунд. Отдал приказ унтерам и, когда понял, что они разнесли его по залегшим солдатам, вскочил, выхватил саблю, не забыв расстегнуть пистолетную кобуру.

– Вперед! Урраааа!

И понесся к баррикаде.

Слышал от офицеров давних войн, что самое главное в эту секунду – не оглядываться. А самая приятная музыка – не оглушительное «уррааа» сзади, а топот догоняющих ног.

Александра не только догоняли, его и перегоняли. Секунд через десять он бежал среди толпы.

Расчет оказался верным. Противник только что свалил фонарный столб и, отложив ружья, пытался втиснуть его в основание баррикады. Может, не ждал атаки до подхода артиллерии. В любом случае растерялся. Не сразу взялся за оружие, стрелял не дружно и не метко. Когда же до бегущих солдат оставалось шагов двадцать, кинулся наутек.

«Если бы продвигались ползком, перебежками, потери были бы больше», – подумал Александр, карабкаясь по огромному дубовому шкафу из разгромленной лавки. Пока лез – уронил саблю, она провалилась в деревянный завал. Не стал искать, выхватил револьвер.

Убегавшие враги кинули две бомбы. Одна рванула где-то в стороне, другая пролетела у плеча Александра, упала за спиной, между ним и баррикадой, покачиваясь на мостовой. Азарт победил страх: не ложиться же! Александр рванул вперед, промчался несколько метров, услышал за спиной глухой удар. Осколки миновали, только взрывная волна подтолкнула в спину, и он заскочил в подворотню трехэтажного дома, куда только что метнулись двое убегавших. Подворотня вывела в узкий двор.

Мгновенье назад рядом с Александром бежали солдаты. Теперь он остался один.

Беглецы поняли это. Мужчина в высокой шапке оглянулся, скомандовал:

– Мацек, убей офицера!

Сам побежал дальше. Его товарищ развернулся к Александру. Щуплый парнишка в кепке, сдвинутой набок, с островатым, хищным лицом, перекошенным злобой. Поднял револьвер, дернул крючок. Выстрела не было.

На одну секунду боевой азарт Александра сменился радостью: он бросит пистолет, сдастся. Но парнишка серьезно отнесся к приказу. Сунул руку в карман, вытащил три патрона, стал засовывать в барабан. Уронил один – во дворе было так тихо, что Александр расслышал звук удара гильзы о сколотый булыжник. С четким стуком прокрутил барабан...

Все это время Александр сам держал в руке пистолет. Еще негромко сказал «сдавайся», раз, другой – противник не слышал...

Он начал тренироваться еще в училище. В гарнизоне стрелял не меньше ста раз и почти всегда выбивал лучшие результаты, чем товарищи. Но это не имело значения: на таком расстоянии не промахнуться. Оставалось только выстрелить...

Александр остался один на один не только с боевиком, но всеми книгами, брошюрами и газетами, прочитанными прежде. С уверенностью, что не имеет права стрелять в борцов с самодержавием. Со своими дурацкими словами, сказанными когда-то генералу Шильдеру про обещание перейти на сторону восставших.

Он не мог перейти на сторону этого мальчишки с глазами хорька. Но не мог и спастись, дернув на себя указательный палец...

То, что боевик выстрелил, Александр понял, лишь когда ощутил резкий удар в грудь. «Сердце? Нет, правее», – подумал он, медленно оседая на брусчатку.

Еще видел, как мальчишка, рыча от радости, целится в голову. Но его рычание перекрыл рев солдата, одним прыжком оказавшегося рядом. Выбросил руки с винтовкой, проколол боевика, приподнял и сбросил.

«Пуля – дура, штык – молодец», – подумал Александр, теряя сознание.

Мария

Первая размолвка с мужем вышла у Марии случайно, из-за неудачного совета.

В тот ноябрьский вечер Андрей вернулся поздно. Сказал, что надо еще посоветоваться с военными чинами – те уже пришли в губернаторский дворец. Скоро был подан ужин: buffet с закусками. Мария понимала: мужу надо и посоветоваться, и просто побыть с людьми, которых он хорошо понимал, и выпить с ними. Когда смута пойдет на спад, тогда можно и потребовать внимания. Но не сейчас.

Все же часа через полтора, по уже сложившейся привычке, взяла Митеньку и вместе с ним пошла к мужчинам.

Момент выбрала подходящий: гости только что побывали в курительном салоне – английском нововведении, устроенном в доме после рождения младенца. На столе стояли бутылки, рюмки, стаканы, валялись депеши и свернутая в трубку карта губернии.

Когда Мария входила, говорил прокурор:

– С манифестом никакого спокойствия. Прежде мужики просто грабили поместья. Теперь считают, что это им разрешено царским указом. Так и сказано в указе: что было барское, теперь народное.

Мария надеялась, что с ее приходом разговор прервется, муж поцелует Митеньку и пообещает скоро прийти. Но резко заговорил начальник губернской стражи – рядом с ним полупустая бутылка с коньяком.

– Андрей Аркадьевич, предлагаю действовать на опережение. Брать стражу, две телеги лозняка и в село. Сбирать мужиков, спрашивать, что писано в царском манифесте. Как только кто-то скажет: барское имущество – наше, вот сразу, а *devancer*², не дожидаясь грабежа, всех как сидоровых коз. Чтоб день не вставать, неделю не сидеть, месяц чесаться. И только так!

– Господа, – Мария не сразу поняла, что говорит именно она, так сразу стало тихо, – не лучше было бы попытаться ознакомить крестьян с манифестом? Зачитать его не только в волостях, но в каждом селе. Чтобы крестьяне убедились, что про помещичье имущество в манифесте ни слова.

– Но крестьянство не поверит-с, – прервал молчание прокурор, – послушает и будет шептаться: господа настоящую царскую грамоту подменили.

– Пусть зачитают самые уважаемые люди: старейшины, сельский священник, учитель, – не сдавалась Мария. – Пусть те, к кому прислушаются, подтвердят...

– Убедили меня, мадам, – прервал Марию начальник конной стражи, – поступим гуманно. Пересечем не каждого, а каждого второго.

Собравшиеся расхохотались. «Согласились бы со мной, им бы возиться пришлось, – думала Мария, – а так посмеялись, и всё».

Не смеялся только муж. Мелькнула секундная улыбка солидарности, потом лицо стало суровым. Он сердился и на бестактного стражника, и на жену.

Потом сухо сказал:

– Сюда заносит дым из курительной комнаты. Вам лучше поскорее удалиться.

Мария вышла. Думала: сейчас пойдет следом, выговорит, но скажет «спокойной ночи».

Не вышел, не сказал. И позже не зашел. Мария заснула одна.

² В упреждение (*фр.*).

* * *

Утром, когда оделась и вышла, выяснилось, что Андрей уже отбыл по неотложному делу, но вернется до полудня, к приемным часам. Марии было не по себе от непривычной ситуации. Не захотела ждать вечера, решила заглянуть в приемную залу. Лучше всего к часу дня, когда Андрей прервется на обед.

Так и сделала. Прогулялась с Митей в саду, пришла в ожидательный зал около часа. Не сразу заметила, что следом за ней идет скромно одетая черноволосая девушка в зеленом платье. Незнакомка шла ровным, почти солдатским шагом.

У дверей приемной залы стоял Иваныч, из всех наград больше всего гордившийся медалью «За защиту Севастополя». Вообще-то по нынешним беспокойным временам полагалось еще стоять и жандармскому офицеру. Но ревнивый Иваныч, со своим наметанным глазом на посетителей, считал, что достаточно и его одного. Говорил: или меня оставьте, или ставьте хоть жандармский взвод, а меня – в отставку. Андрей, полюбивший старого служаку с первого дня, пришел к компромиссу: жандарм дежурил на стуле возле гардероба.

Мария направилась к дверям. Девушка остановилась, открыла саквояжик. Сделала что-то внутри. И зашагала к дверям еще решительней и деревяннее, чем прежде. Казалось, в ее сумке сосуд с водой и она боится его расплескать при неосторожном шаге.

– Здравствуйте, Мария Георгиевна, – улыбнулся Иваныч. И еще шире улыбнулся Мите: – У-тю-тю! Тютю! Барышня, а вы...

Так увлекся «у-тю-тю», что не заметил, как незнакомая барышня, без объяснений, без росписи в журнале посещений, проследовала за губернаторшей. Но хотя и берегла невидимый бокал в сумочке, шла столь уверенно, что Иваныч так и не задал вопрос до конца, а идти следом, хватать за руку – не решился.

По пути в приемную залу Мария почти не думала про незнакомую девицу и ее странное поведение. Она ждала встречи с Андреем и одновременно боялась ее. Помнила вчерашний вечер: поджатые губы, взгляд, мгновенно ставший колючим. Больше всего боялась увидеть сейчас Андрея таким же.

Тогда она уйдет. Не будет сердиться, а просто дождетя, когда он первый подойдет к ней.

На миг услышала чей-то голос: «Да как он смел так оскорбить тебя, да еще при всех! Ты не должна искать встречи с ним. Немедленно развернись и уйди! Пусть подойдет первый, попросит прощения сам».

Мария не сбавила шаг. Просто ответила – то ли голосу, то ли себе самой: «Он вчера был уставший. Нет, я не считаю себя виноватой. Мои слова не были дамской глупостью. Потом, когда он простит меня, я еще раз предложу зачитать манифест во всех селах. Даже там, где читали, ничего страшного, если второй раз. Но сначала помиримся».

Подумала, может, свести к шутке. Мол, если бы не была губернаторшей, сказала бы мне подружка, что в манифесте царь разрешает институткам жениться на гимназистах. И я непременно поверила бы в эту глупость. А еще можно вместе посмеяться над неграмотными мужиками...

Вошла в залу. Андрей, привстав возле стола, беседовал с городским головой, человеком тучным и преклонным – стоять ему было проще. «Какой он деликатный», – подумала Мария. И зашагала к мужу.

– Хорошо, так и будет... Мария, здравствуй. У тебя новый прожект? Это твоя новая дуэнья? – дважды спросил муж с легким раздражением.

– Именем русской свободы!

«Дуэнья» шла следом. Марии показалось, будто она хочет ее обогнать. Но отказалась от намерения. Внезапно крикнула:

– Пожалуйста, отойдите от палача! Отойдите от него, немедленно!
И взмахнула сумочкой.

Мария взглянула в глаза незнакомке, только что крикнувшей о русской свободе, и все поняла. Правой рукой удерживала Митю, левой – обняла мужа. «Может, мне отбросить ребенка в сторону?» – думала, ужасаясь этой мысли. Сама, побеждая страх, глядела в глаза незнакомке, будто стараясь сказать: «Я не брошу ребенка, я не отойду».

Дверь распахнулась, в приемную залу влетел Иваныч. Городской голова, напротив, кинулся в сторону, сел на корточки возле кресла.

– Пожалуйста, отойдите! – отчаянно закричала девица. И, увидев, что Мария не отходит, швырнула сумочку в сторону окна, где не было ничего и никого, кроме цветов...

Мария, когда читала газеты о терактах, была уверена, что разрывной снаряд гремит, как гром, что огонь вспыхивает фейерверком и разлетаются клубы черного дыма. Однако звук был резкий, громкий, но не оглушительный. А дым – желтоват. Толкнула взрывная волна, стол за спиной помог устоять.

Что-то мягкое, мокрое ткнулось в лицо. Мария на секунду ужаснулась, но поняла, что это оторванный сочный пальмовый лист.

Ошарашенная девица стояла на месте, когда к ней подбежал Иваныч и с размаху ударил кулаком в лицо.

Статистика по терактам и приговорам военно-полевых судов

По данным местных властей МВД России, с февраля 1905 года по май 1906 года в результате терактов погибло:

Генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников – 8

Вице-губернаторов и советников губернских правлений – 5

Полицейских, уездных начальников и исправников – 21

Жандармских офицеров – 8

Генералов (строевых) – 4

Офицеров (строевых) – 7

Приставов и их помощников – 79

Околоточных надзирателей – 125

Городовых – 346

Урядников – 57

Стражников – 257

Жандармских нижних чинов – 55

Агентов охраны – 18

Гражданских чинов – 85

Духовных лиц – 12

Сельских властей – 52

Землевладельцев – 51

Фабрикантов и старших служащих на фабриках – 54

Банкиров и крупных торговцев – 29

Всего: 1273

С 1905 по 1907 годы в Российской империи были казнены 1293 человека, включая лиц, осужденных за уголовные преступления.

Вера

Побои прекратились почти сразу. Вера их почти не запомнила. Зато она вспоминала снова и снова, как поднимает сумочку с бомбой. Как кричит: «Отойдите!» – и швыряет ее...

Иногда под ноги большеглазой, рыжеволосой дурочке-губернаторше, похожей на Алешку с картины модного художника Васнецова. Еще до взрыва жутко вскрикивал ее молчаливый ребенок, и Вера просыпалась. И тогда сумка, как в реальности, летела к подоконнику.

Ей было стыдно. Во-первых, не справилась с заданием Боевой организации. Во-вторых, ей предложили совершить новый подвиг, а она – не смогла.

О том, каким должен быть подвиг, объяснил адвокат, член БО, приехавший из Санкт-Петербурга. Убедившись, что их не подслушивают, он сказал чуть укоризненно:

– Плохо получилось. И вы ошиблись, и товарищи ошиблись... в вас. Но борьба продолжается. Вы должны показать всей России, что ваша минутная растерянность никак не соотносится с вашими убеждениями. Вас пригвоздят к Позорному столбу скамьи подсудимых, но вы должны превратить ее в Башню Стойкости.

Вера, еще не разучившаяся мыслить конкретно, на миг испугалась, представив, как ее прибавляют гвоздями к скамье. Потом устыдилась, что не поняла метафоричность сказанного.

– Пусть товарищи не сомневаются, я прокляну тиранию во время последнего слова и пожелаю, чтобы губернатора-палача как можно скорее настигла справедливая кара от рук товарищей.

– Мы и не сомневались, что вы обличите тиранию на суде, – мягко сказал адвокат. – Но вы также должны сказать то, что вас, сразу после ареста, избивали, секли и насиловали.

– Но ведь этого не было! – ответила Вера. Увидела на лице адвоката огорчение и разочарование, устыдилась. Ведь он проделал такой путь, на средства из партийной кассы. Добавила: – Меня били, но немного. Можно я об этом скажу? Даже что били сильно и угрожали...

– Этого недостаточно, – прервал ее адвокат. – Вы обязаны публично заявить, что над вами надругались. Подробности излишни: вы могли их не запомнить, а если их потребуют – воззвать к отцовским чувствам судей и прокурора. И непременно добавить: если я пойму, что ношу в себе каиново семя, я избавлюсь или от проклятого плода, или от оскверненной жизни. И это, господа-палачи, будет на вашей совести.

Вере показалось, будто ее опять оглушила взрывная волна. Все равно нашла силы ответить:

– Но ведь... это грех.

Адвокат посмотрел на нее с огорченным интересом:

– Грех что – аборт или самоубийство?

«И ложь тоже!» – чуть не крикнула Вера. Она только сейчас с ужасом поняла, насколько не подходит для борьбы за народное счастье. Не раз представляла, как подорвет сатрапа бомбой и погибнет при взрыве. Это не самоубийство, это гибель в бою. Представляла, как ее арестуют и возведут на эшафот. Но лишит себя жизни самой?

Оказывается, она была не готова даже думать об этом.

– И аборт, и самоубийство, – тихо ответила Вера. И неожиданно добавила: – Двойной грех.

– Это правда грех? – с удивлением и презрением спросил адвокат. – Впрочем, вы должны понимать, что вам не угрожает ни первое, ни второе. Если вас действительно не насиловали. И кстати, чтобы сказанное выглядело особенно достоверно, не забудьте напомнить, что ваша старенькая мать не перенесла чудовищного позора единственного ребенка и скончалась.

– Мне солгать, что у меня умерла мать?! – крикнула Вера.

В глазах адвоката впервые после начала разговора появилось не наигранное удивление.

– Вас об этом еще не известили? Впрочем, неудивительно, она скончалась позавчера, а жандармы торопливы только на злые дела. Мне вас очень жаль. К сожалению, не все наши родители разделяют наши убеждения. Они не понимают, что на тиранию можно воздействовать только террором...

Вера не слышала его. Она вспоминала мамины письма этой осени. Ее просьбы вернуться домой из опасного Петербурга. Обнадеживающие ответы: маменька, я скоро приеду.

Она ведь и вправду хотела заглянуть домой перед тем, как пойти в дом губернатора. Но испугалась, что растает в слезах и не решится. А если мама еще и найдет бомбу. Поэтому пошла сразу с вокзала.

Маменька ее ждала. И дождалась...

Вера кинулась к надзирателю.

– Скажите, это правда, что моя мать... – не смогла сказать «умерла».

– Да, барышня, – смущенно ответил тот, – утром мы узнали-с. Не стали вас пока что печалить.

Подошел адвокат, тоже стал что-то говорить. Вера не слышала их обоих.

К вечеру девушка металась в горячке. Утром ее поместили в тюремную больницу.

17 мая 1908 г.

Губернаторам и Градоначальникам

В Министерство Внутренних Дел поступили сведения о нескольких случаях допущения чинами тюремной администрации и полиции насилия над заключенными, причем эта противозаконная мера применялась иногда при допросах с целью вынудить откровенные показания от арестованных.

Подобные факты с несомненностью свидетельствуют об отсутствии должного надзора за действиями означенных административных чинов со стороны Начальников губерний, последствием чего и являются приведенные злоупотребления властью.

Признавая вполне соответственным применение самых решительных мер, включительно до действия оружием, для подавления беспорядков и при сопротивлении власти, я однако совершенно не допускаю возможности насилия над лицами задержанными, в виду чего предлагаю Вашему... внушить эти мои указания всем подведомственным Вам должностным лицам.

Подписал: Министр Внутренних Дел Статс-Секретарь Столыпин

* * *

Выздоровливающим арестантам дозволялось общаться. Встреча с одним из узников потрясла Веру не меньше, чем новость о смерти матери.

Собеседником оказался деревенский парень, статный, красивый, с небольшими рыжеватыми усиками. Вера подумала, что с него можно было бы нарисовать рекламную афишу для модного магазина в центре Петербурга.

Впрочем, парню красавцем уже не бывать. Голову и часть лица скрывала повязка от сабельного удара, протянувшегося с макушки на правую щеку. Правая рука, тоже разрубленная, на перевязи.

– Барышня, – снова и снова спрашивал Кузя свою собеседницу, – барышня, вы же грамотная, объясните мне, как так получилось?

Село Кузьмы долго волновалось, но не поднималось. Пока не дошли слухи, что царь издал указ о свободе.

– Мы ничего не знали толком, – рассказывал Кузьма, – пока Степка с Японской войны не вернулся, со смятой бумажкой. А там написано: вас долго угнетали, теперь за угнетение положена пенсация. Идите в усадьбу, берите зерно, скотину, плуги, молотилки, прочий инвентарь. Делите по совести, бедняков не обижайте. Будут вам противиться, знайте – это помещичьи наймиты, против царя идут. Мы и пошли, взяли, как сказано, оставили помещику телушку и два куля зерна, даже дом поджигать не стали. Прискакала стража: вертайте всё в усадьбу. Мы за вилы и берданки, я в стражника из ружья угодил, меня саблей порубили.

Кузя вздохнул и продолжил, еле сдерживая слезы:

– А здесь мне настоящий манифест прочитали. Там про свободы, про думы какие-то. И ничего не сказано, что можно брать зерно в помещичьем амбаре. Барышня, как же нас можно было так обманывать? Я дурак дураком, ведь грамотный, мог бы съездить в город, прочитать, что в этой бумажке на самом деле написано. Пошел со всеми и вот...

Ударил левой рукой по стене, зарыдал, как ребенок.

– Дохтор говорит, теперь я правой рукой не работник. Следовательно – мне в каторгу идти, за вооруженное покушение на власть. А у меня Машенька на сносках дома осталась. И денег нет работника нанять. Она же гордая, помощи не попросит, убьет себя трудом. А мне... а мне в каторгу теперь и никак ей не помочь. Барышня, как же можно было так с нами поступить, обмануть нас? За что?

Если бы проклинал, было бы легче. Но нет, рыдал, как ребенок.

* * *

Едва Вера выздоровела, начался суд. От решимости обличить тиранию не осталось и следа. Едва в голове рождалась громкая фраза, перед глазами вставал рыдающий Кузьма. Вера сидела в прострации, вяло слушала, казалось бы, бесконечные речи защитника – местного, не петербургского товарища – тот уехал. Адвокат апеллировал к душевному состоянию подзащитной, не отдававшей отчета в своих поступках. Загипнотизированной в переносном смысле, «а может, и в прямом», радикальными элементами, использовавшими доверчивую девушку для преступления против государства. Не раз повторял: «Эта механическая кукла, эта сомнамбула снова стала человеком, лишь когда поняла, что жертвой ее злодеяния может стать младенец».

Удивилась словам адвоката о том, что на подавленное состояние подзащитной повлияло страшное известие о смерти матери. Была уверена, что прокурор заявит протест. Укажет, что мать умерла *после* неудачного теракта, а не *до* него.

Взглянула на прокурора. Тот и вправду вышел из дремы, но протест не заявил. Только взглянул на Веру, и взгляд почему-то показался ей лукавым.

От последнего слова Вера отказалась. Столичные газетчики, командированные на процесс о неудачном покушении на губернатора, разочарованно вздохнули. Зато приговор оказался сенсацией: трехлетняя ссылка, да еще в местах не столь отдаленных.

* * *

Отправки в ссылку Вера дождалась в одиночной камере. Ей было тревожно и тяжело. Свежую прессу в тюрьму не доставляли, но попадались газеты недельной давности. Судя по ним, террористам по всей России выносили суровые приговоры, вплоть до смерти, даже за пистолет или бомбу, найденные при них.

Как посмотрят товарищи на столь удивительно мягкое решение суда? Как посмотрит общественность? Не подумает ли, что она нарочно швырнула бомбу в безопасный угол, испугавшись эшафота, а судьи, нет, не судьи, просто слуги самодержавия, наградили ее за это мягким приговором. Урок малодушным боевикам.

От этих мыслей забывался и плачущий Кузьма, и мать. Перед закрытыми глазами Веры снова вставала губернаторша с младенцем на руках. А если супруга палача была бы без ребенка? Метнула бы бомбу не колеблясь...

Скрипнула дверь. Вера подняла голову и увидела губернаторшу в черном платье. Ее лицо осунулось, теперь гостья еще больше напоминала горюющую Аленушку.

– Я благодарна вам за ваш поступок, – негромко сказала она. – Мне объяснили, что более мягкий приговор был бы невозможен; даже этот вызвал толки в столице. Вас вышлют в Вологодскую губернию. Возьмите, пожалуйста, здесь то, что будет вам необходимо в поездке.

Протянула Вере корзину. Та вскочила, преисполненная радостью от того, что может сказать слова, которые иначе остались бы мыслями.

– Как мне жаль! Как мне жаль, что вы явились в приемную с ребенком на руках! Я... я не колебалась бы ни секунды. И не промахнулась бы. А сейчас... Я сожалею о минутной слабости! Ведь невинный младенец вырастет таким же палачом, как и его отец!

Мария вздрогнула, еле слышно сказала: «Господи, помилуй!»

– Господь помилует, – крикнула Вера, – зато ваш муж никого не помилует! Вырастит кровавого пса из щенка! Наверное, уже сейчас учит постегивать кукол прутиком, потом научит их вешать! А вы... Жена палача! Вырядилась, как ворона, чтобы узникам было тоскливо идти на каторгу, на эшафот, да хоть в ссылку, как мне. Суд меня пожалел... Кто Россию пожалеет?!

Замолчала, вгляделась в лицо гостьи. Показалось, будто из ее глаз вылетела молния, как из тучи. Гостья даже прикусила губу.

Но молния если и вылетела, то растворилась в небе.

Мария повернулась к надзирателю. Протянула корзинку.

– Потом, когда прекратится ист... Потом, пожалуйста, отдайте ей.

И вышла из камеры. Надзиратель укоризненно сказал Вере:

– И ничему-то муж ее сына не научит. Застрелили его позавчера, на ступеньках собора. Мария Георгиевна, хоть и траур носят, все равно вас навестили, с благодарностью, что мужа убили не вы. Гостинцев в дорогу принесла. А вы как с ней...

Вера удивленно взглянула на тюремщика. Судорожно глотнула воздух. И кинулась к двери. Тюремщик, хотя держал корзинку и ключи, легко ее ухватил, задержал на пороге.

– Куда? – грозно спросил он.

– К ней. Извиниться! – крикнула Вера.

– Нельзя вам выйти, барышня-с, – беззлобно и сочувственно сказал надзиратель, – тюрьма-с.

Оставил корзинку и вышел.

Вера села на кровать и зарыдала, как деревенский парень Кузя.

1905 год стал символом не только политической, но и духовной трагедии России. В стране произошел невиданный разлом. Оказалось, что целые общественные группы настроены против государства, против начальства, желают свергнуть существующие порядки любой ценой. Даже ценой хаоса и разрушений.

Особенно это стало очевидно в середине осени, когда Россию парализовала всеобщая забастовка. Остановились железные дороги, почта и телеграф.

Формулировка «интеллигенция выступила против царя» проста и неверна. Активными участниками протестов стали даже учащиеся духовных семинарий. К концу октября 1905 года к Всероссийской политической забастовке присоединились 43 семинарии. В Пензенской семинарии дошло до демонстраций с красными флагами и постройки баррикад. В мае 1906 года воспитанник Тамбовской семинарии Владимир Грибоедов совершил неудачное

покушение на ректора – архимандрита Феодора. Студентов, отрицательно отнесшихся к попытке убийства, было так мало, что они не решились отслужить благодарственный молебен в семинарском храме и отправились в приходскую церковь.

Стало очевидно, что даже для юношей, выбравших путь священника, мирские проблемы значительно важнее духовных, а земная Конституция ценнее, чем Царство Божие. Церковные обряды, круг богослужений, праздники, даже Божественная литургия – все казалось второстепенным приложением к главному, к гражданским свободам. И если ректор семинарии не разделял эти убеждения, он становился мишенью.

В дни прославления Серафима Саровского, когда сотни тысяч людей стояли на коленях со свечами, можно было увидеть одну Россию, верящую и верную. Когда осенью 1905 года демонстрации с красными флагами заполнили большие города, стала видна другая Россия – озлобленная на любое начальство, требующая немедленных прав и свобод любой ценой.

Стало очевидно, как мало сделано Церковью для подлинного, духовного просвещения. Слишком мало оказалось тружеников на этой ниве. Самым выдающимся священником из белого духовенства был Иоанн Кронштадтский, но даже его многолетняя работа не уберегла этот город на острове от кровавого бунта.

Этот великий пастырь из простой семьи был необычайно популярен в стране. К сожалению, в первую очередь как целитель, как благотворитель, как организатор домов трудолюбия. Ежедневная литургическая практика отца Иоанна, не бывавшая прежде в России, самое главное, что должно быть для христианина, осталась незамеченной и непонятой даже среди духовенства. Оно тоже мечтало о реформах.

И современникам, и людям нашего времени могут показаться странными и резкими слова Святого о Льве Толстом – отец Иоанн фактически желал смерти знаменитому писателю, впрочем, уже давно бывшему публицистом и пропагандистом собственной идеологии. Немногие понимали, что Иоанн Кронштадтский защищает Церковь от нападок Толстого, Евангелие – от толстовской цензуры – и всю Россию – от чудовищного опрощения по Толстому. Мира, в котором нет места не только Церкви и государству, но и науке, искусству, вообще любой сложности...

Россия преодолела тогдашнюю смуту. В первую очередь благодаря решительности гвардейского и армейского офицерства. Но зло неверия, недоброго отношения к государству и исторической России так и не было преодолено. Не только власть имущие, но и просвещенные митрополиты и епископы не поняли страшных слов, произнесенных Иоанном Кронштадтским:

«Россия забыла Бога спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий; вместо воли Божией премудрой, святой, праведной – поставила призрак свободы греховной, широко распахнула двери всякому произволу. И от того неизмеримо бедствует, терпит посрамление всего света, – достойное возмездие за свою гордость, – за свою спячку, бездействие, продажность, холодность к Церкви Божией. – Бог карает нас за грехи; Владычица не посылает нам руку помощи.

Россию можно назвать царством Господним. Это, впрочем, только с одной стороны. С другой же – по причине безбожия и нечестия многих русских, так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпавших от веры и поносящих ее всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускающих в жизни своей всякий разврат, – русское царство есть не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны...

Правители-пастыри, что вы сделали из своего стада? Взыщет Господь овец Своих от рук Ваших! Господь преимущественно надзирает за поведением архиереев и священников, за их деятельностью просветительною, священнодейственною, пастырскою... Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и вообще священнического чина.

Россия мятется, страдает, мучается от кровавой внутренней борьбы, от неурожая земли и голода, от страшной во всем дороговизны, от безбожия, от крайнего упадка нравов. Злые времена – люди обратились в зверей, даже в злых духов. Ослабела власть. Она сама ложно поняла свободу, которую дала народу. Сама помрачилась умом и народу не дала ясного понимания свободы. Зло усилилось в России до чудовищных размеров, и поправить его почти что невозможно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.